

ТЕОДОР КРАМЕР

хвала отчаянию



ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ



ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО ЕВГЕНИЯ ВИТКОВСКОГО

МОСКВА
ВОДОЛЕЙ
2019

УДК 821.112.2
ББК 84(4Ге)
К78

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ ТЕОДОРА КРАМЕРА

На обложке – картина Г. Климта (1862–1918)

И не написано еще так много
Того, что только я один пишу...
Теодор Крамер

Составление, предисловие, перевод
Евгения Витковского

Крамер Т.

К78 Хвала отчаянию: Избранные стихотворения / Пер. с нем.,
сост. и предисл. Е. Витковского. – М.: Водолей, 2019. – 300 с.

ISBN 978–5–91763–486–9

Крупнейший австрийский поэт XX века Теодор Крамер (1897–1958), чье творчество было признано немецкоязычным миром еще в 1920-х г., стал известен в России лишь в 1970-е. После оккупации Австрии, благодаря помощи высоко ценившего Крамера Томаса Манна, в 1939 г. поэт сумел бежать в Англию, где и прожил до осени 1957 г. При жизни его творчество осталось на девяносто процентов не опубликованным; по сей день увидело свет немногим более двух тысяч стихотворений; вчетверо больше остаются неизданными. Стихи Т. Крамера переведены на десятки языков, в том числе и на русский. В России больше всего сделал для популяризации творчества поэта Евгений Витковский; его переводы в 1993 г. были удостоены премии Австрийского министерства просвещения. Настоящее издание объединяет все переводы Е. Витковского, в том числе неопубликованные.

ББК 84(4Ге)
УДК 821.112.2

ISBN 978–5–91763–486–9

© Е. Витковский, составление, предисловие, перевод, 2019
© Издательство «Водолей», оформление, 2019

Еще недавно, предлагая русскому читателю стихи Крамера, приходилось рассказывать о том, кто и когда назвал его «вторым после Рильке великим поэтом Австрии». В XXI веке в этом уже нет нужды: не только среди австрийских поэтов, но и в целом среди тех, кто писал на немецком языке в прошлом столетии, Теодор Крамер занимает одно из первых мест – вместе с Георгом Геймом, Бертольтом Брехтом, Готфридом Бенном, Георгом Траклем, Паулем Целаном. И это несмотря на то, что даже сейчас, когда издано огромное, в три тома, собрание его стихотворений (предисловие к которому написал бывший канцлер Австрии Бруно Крайский), мы имеем возможность прочесть менее четверти его творческого наследия.

Теодор Крамер вступил в литературу в конце двадцатых годов XX века: наиболее ранние стихотворения в его трехтомном «Собрании» (заметим – Крамер всю жизнь, кроме стихов, написал разве что письма) датированы 1925 годом. Но в венском архиве Крамера по сей день, помимо изданных на сегодняшний день примерно двух тысяч его стихотворений, хранится вчетверо больше.

Четыре поэтических сборника, выпущенные до того, как в 1939 году поэт чудом покинул оккупированную родину, обеспечили ему известность среди многих читателей. Обеспечили они и столь же пристальное внимание со стороны нацистов. Идеолог национал-социализма Альфред Розенберг по первым же опубликованным стихотворениям безошибочно распознал в Крамере непримиримого врага: еще в 1928 году, за несколько месяцев до выхода в свет первой книги Крамера, он посвятил творчеству поэта гневную статью, заклеил титулом «придворного поэта демократии», а позднее (1939) подписал документ, в котором книги Крамера попали в пресловутый список того, что подлежало сожжению.

...Между тем, когда в начале 1958 года поэт умер в одной из венских больниц, за его гробом шло едва ли три десятка человек: при жизни он оказался забыт. Еще через полвека он стал одним из самых читаемых, исполняемых и известных поэтов XX века, но до се-

редины 1970-х годов он был известен почти никому. Воскрешение его началось сперва в Германии (и в СССР!), лишь много позже наступило признание его «главным» собственно австрийским поэтом.

Поэт родился «в день рождения Гамлета, принца Датского» – первого января. Произошло это в 1897 году, в полусотне километров от Вены, в большой деревне Нидерхолабрунн в нынешней Нижней Австрии, одной из самых маленьких провинций страны, недалеко от берега заросшего камышом озера Нойзидлерзее, ныне разделяющего Австрию и Венгрию, – озеро это более всего прославил своими книгами зоолог Конрад Лоренц. Озеро целиком заросло камышом, но максимум глубины в нем всего-то полтора метра, и детство в таком странном для Европы месте не прошло для творчества Крамера даром. Отец будущего поэта был сельским врачом и чистокровным евреем, мать – еврейкой наполовину (ее вполне арийская матушка косвенным образом спасла внуку жизнь, но об этом ниже). Отец, Макс Крамер, был буквально «непричастен музам»; мать, судя по всему, дальше знакомства с Гейне и Лессингом не пошла. Образование поэт получил среднее, в Вене, точнее, в воспитанном им много позднее Леопольдштадте, собирался получить и высшее, но помешала война... а еще больше то, что с 1913 года юноша стал всерьез писать стихи, всё меньше интересуясь карьерой служащего. Он глубоко знал диалекты, которыми пестрит земля Австрии: помимо сугубо венских и бургенландских словечек, стихи его полны заимствованиями из хорватского, каринтийского и множества других языков и диалектов. Неожиданно и то, что Крамер, переходя на трехдолгие размеры – дактиль, амфибрахий и анапест, – легче и привычнее воспринимается русским ухом, чем немецким: тут явно сказалось славянское окружение, и в этом, возможно, секрет того, что сейчас на стихи Крамера написано множество песен, вышло немало компакт-дисков – музыка продиктована самими «ровными» ритмами, столь удобными для музыканта и певца. Не приходится удивляться, что берлинские журналы, куда он посылал стихи, их даже не рассматривали. Считается, что дело было в их «социальной направленности», но, видимо, не только в ней.

13 октября 1915 года юноша был призван на военную службу. Сначала он попал на Волынь, на Восточный фронт, где был тяжело ранен в челюсть и горло; после госпиталя попал на Южный фронт, где ценой чудовищных потерь в живой силе победу одержала все-таки Италия. Австро-Венгрия же в 1918 году вообще перестала существовать как империя, распавшись на несколько отдельных государств, а то,

что осталось, поделили между собой страны-победители, в том числе и те, кто особо интенсивного участия в войне не принимал. Крамеру повезло: с итальянского фронта он вернулся живым и стал искать место в жизни.

Теперь, когда слава поэта и его имя в пантеоне лучших из лучших бесспорны, часто говорят, что он родился не в то время и не в том месте. В подобном утверждении нет ничего, кроме непонимания сути поэзии Крамера (да и поэзии в целом). Если бы Крамер прожил благополучную жизнь, он обречен был бы не состояться как поэт. По сходному поводу другой эмигрант, Иван Елагин, писал:

Что всякого горя и смрада
Хлебнешь ты сполна,
Что сломана гроздь винограда
Во имя вина.

Именно благополучия в жизни ему выпало меньше всего, что и дало толчок его поискам «низовых», во многом известных ранее немецкой литературе тем и форм. Их он нашел очень скоро. Окончательно оставив надежды на высшее образование (то не давалась математика, то требовалась латынь, которой Крамер не знал), в поэзии он уже обрел «свое». Как и его почти ровесник Бертольд Брехт, еще недавно разговаривавший лишь на швабском диалекте, Крамер пришел почти к тому же: к балладе жизни униженных и обиженных жизнью.

Много лет спустя Леон Фейхтвангер писал: «По всей вероятности, исходной точкой Брехта является баллада. Он опубликовал собрание баллад, озаглавленное «Домашние проповеди»; это истории малых, а порой и великих жизней, изложенные в первозданной, народной форме, – дикие, грубые, набожные, циничные. Многие люди впервые показаны в этих стихотворениях, многие чувства впервые высказаны». Эти слова, сказанные о Брехте, видимо, даже в большей степени можно отнести к Крамеру: жанр возник у них одновременно, даты выхода первых серьезных сборников почти идентичны: «Домашние проповеди» Брехта вышли в 1926 году, «Условный знак» Крамера – в 1928 (и сразу же был отмечен Премией города Вены). Однако Брехт писал драмы, прозу, эссе и многое другое; Крамер, как уже было сказано, кроме стихов не писал ничего, вот и запоздала к нему слава. Впрочем, за деревьями, как всегда, не видно леса: слава к Брехту-поэту (не к драматургу) в тех масштабах, каких он заслужил, не пришла и по сей день.

Вернемся к Крамеру. Годы после Первой мировой войны он провел так, словно специально собирал материал для будущих баллад: слушал в книжном магазине, бродяжничал по Нижней Австрии и Бургенланду, нанимаясь то в чернорабочие, то в сторожа словом, побывал в роли многих своих будущих героев. Лишь на тридцатом году жизни, в 1926, он напечатал, насколько известно, первое стихотворение. И сразу понравился читателям. Двумя годами позже вышла и его первая книга – «Условный знак» (1928); вышла она, заметим, во Франкфурте-на-Майне. В том же году (вместе с Эгоном Сузо Вальдеком) он получает Премии города Вены» и на некоторое время становится в столице Австрии (и не только там) любимым и желанным «газетным поэтом»: помимо журнальных публикаций, в 1930 году выходит в свет (в Берлине) его небольшая книга «Календарь», и лишь в 1931 году в Вене – даже не совсем сборник, а в некотором роде дневник военных лет (1915–1918) – «Трясинами встречала нас Волинь», в тетрадах стихотворения этой книги датированы 1915–1931 годами, это «дневник по памяти». Первую часть, «дневниковую», переводчику очень трудно фрагментировать – это почти поэма, запись военных событий и быта буквально по часам. Вторую часть, галерею «портретов» тех, кто вернулся с войны, переводчику пришлось сделать чуть ли не целиком. Читатель может убедиться: ничего подобного он о войне не читал, – разве что в прозе. Между тем у Крамера это поэзия, и поэзия высокой пробы.

1933 год много изменил в судьбе Крамера. В июне он женился на Инге Хальберштам, эмигрировавшей в Англию в 1941 году, даже раньше Крамера. Но это был факт личной жизни поэта, а факты жизни общественной изменяли всю Европу ежеминутно.

После прихода нацистов к власти в Германии Крамер уже не мог там печататься. Хотя он почти не помнил о собственном происхождении и за кружкой пива весело травил байки о своей бабушке по матери, чье природное имя было Паулина Франциска Пич, и поэтому по галахическим законам, к слову сказать, для евреев Крамер евреем не был. Но бабушка вышла замуж за еврея, их дочь – мать Крамера, погибшая в Терезиенштадте в январе 1943 года – по нюрнбергским расовым законам относилась к «полукровкам» (поэтому и подлежала ликвидации *лишь во вторую очередь*), и выходило, что взгляды нацистов и самого Крамера, которого мало интересовало собственное еврейство, деликатно говоря, не совпали. В самой Австрии в 1934 году пришло к власти правительство Федерального канцлера Курта Шушнига, чью политику до самой аннексии Австрии Германией в 1938 году

трудно охарактеризовать иначе, нежели как «попытку мыши спрятаться под метлу»: после аншлюса сам Шушниг оказался под домашним арестом, а позднее в концлагерях Дахау и Заксенхаузен, лишь по счастливой случайности он спасся и эмигрировал в США. Но в 1938 году в Австрии уже всю хозяйничал ставленник Гитлера, австрийский адвокат Артур Зейсс-Инкварт, будущий почетный клиент Нюрнбергской виселицы; рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер и премьер-министр Пилсудского президент Польши Игнаций Мосницкий весело кромсали Чехословакию, никому не хотелось представлять, что будет дальше; по крайней мере, казалось, что «это еще не война».

...Однако в 1934 году было еще и вовсе сплошное «потом, потом...», про пакт Пилсудского-Гитлера тактично не упоминали. Крамер писал свои баллады, но печататься ему было почти нигде, практически все «рабочие газеты» были запрещены, и лишь небольшие ежемесячные пожертвования друзей – в том числе таких значительных поэтов, как Эрика Миттерер и Паула фон Прерадович (к слову – автор текста нынешнего гимна Австрийской республики), спасали Крамера и его жену Ингу (Розу) Хальберштам от голода. Силами друзей в 1936 году в эфемерном издательстве Der Gsur-Verlag был издан самый большой из прижизненных сборников Крамера – «С гармоникой», сборник, поражающий своим совершенством – и скупостью отбора: ведь писал Крамер ежедневно, причем в иные дни и по два стихотворения, и больше. Как тут не вспомнить, что первые 17 стихотворений своего бессмертного «Часослова» Рильке написал в один день! Однако – времена были другие. Рильке издавали и любили. Крамера – только любили, а насчет изданий – так скоро стало не до них.

1-го марта 1938 года слово «Австрия» исчезло с европейских карт. Появилось нацистское «Остмарк». Уроженцу городка Браунау-на-Инне, тогда входившему в Австро-Венгрию, осталось лишь констатировать, что он теперь – полноценный немец, не австриец какой-нибудь, он теперь – известный всему миру Адольф Гитлер, – никогда, кстати, не носивший фамилию матери (Шикльгрубер), это – фамилия его бабушки по отцу (?), а наиболее вероятным отцом «австрийца» современные ученые считают Иоганна Непомука Гюттлера, брата второго мужа его матери, который и воспитал юного Адольфа. Кстати, широко известно, что Гитлер был художником, но многие ли знают о его близком родстве с выдающимся австрийским поэтом Робертом Гамерлингом?.. Осенью 1938 года имела место «Ночь хрустальных ножей»; чем это кончилось для евреев далеко не только одной Германии – общеизвестно.

Тем временем австрийский еврей на три четверти, поэт Теодор Крамер, мог утешаться лишь тем, что его-то отец, Макс Крамер, умер в 1935 году и всего этого уже не видел. Мать Крамера, урожденную Доктор (это фамилия!) пока не выселяли, и сколько-то времени сын мог ночевать у нее. Ну, а за океаном – по версии журнала «Тайм» ит-лер был избран «Человеком года». Журнал был уверен, что наступающий 1939 год с помощью Гитлера «перевернет мир». В целом так и вышло, но слишком многим из читателей такая уверенность стоила жизни. Однако об этом – в другой раз и в другом месте.

Полноватый, небольшого роста человек с бакенбардами, похожий на Шуберта, в котором с первого взгляда можно было еврея и не признать, ходил по улицам Вены, изображая крайнюю занятость. Он не мог нигде остаться надолго – лишь на короткий срок друзья сумели спрятать его в небольшой психиатрической лечебнице за пределами Вены, которую он до конца жизни называл «...й зеленый дом». Там была создана большая часть стихотворений сборника «Вена 1938 – Зеленые отряды» – которому, как и сборнику «Погребок», было суждено увидеть свет лишь в послевоенной... скажем условно, *свободной* Вене, в 1946 году. Крамер в это время давно жил в Англии, еще многие годы оставались до его возвращения в Австрию. Одно было неизменно: он продолжал писать по одному, по два, по три стихотворения в день. Если в его тетрадях нет стихов за какие-то числа, то можно смело утверждать: в эти дни поэт был болен – или что-то из его наследия пропало. Крамер был настоящим человеком привычки.

Он провел в переставшей существовать Австрии добрых шестнадцать месяцев после аншлюса, не имея фактически никаких надежд на эмиграцию. Попытка бегства в Швейцарию не удалась: развернули прямо на границе. Однако привожу в переводе с английского письмо, которое Томас Манн адресовал Британскому министерству иностранных дел (письмо от 27 апреля 1939 года):

«... Большой талант и высокие личные качества г-на Крамера сделали его одним из самых выдающихся молодых австрийских писателей. Его честность и достоинство послужат лучшей гарантией соблюдения как духа, так и буквы условий, на которых ему будет разрешен въезд на Британские острова. Со стороны нацистских властей ему грозят преследования в случае, если он будет вынужден остаться в Австрии. Прошу вас обратить на это внимание при рассмотрении его дела.

Как один из старейших немецких писателей я позволю себе, с вашего разрешения, утверждать, что Теодор Крамер – один из крупнейших поэтов младшего поколения, чье место в будущей культурной жизни Европы – если

он сможет жить на свободе – обеспечено исключительными достоинствами его творчества, его интеллектом. Любое содействие, которое вы сможете ему оказать, принесет пользу не только г-ну Крамеру и его жене, но будет серьезнейшим вкладом в дело сохранения культуры и демократии».

Считается, что Томас Манн написал это письмо по просьбе друга Крамера, выдающегося поэта Эрнста Вальдингера. Письмо подготавливалось, и 20 июля 1939 года, за считанные недели до начала Второй мировой войны, Теодор *Израэль* (этого требовали документы!) Крамер в Дувре предъявил паспорт с английской въездной визой; начался отсчет дней почти восемнадцатилетнего изгнания.

Первое стихотворение, написанное в Лондоне, датировано 15 августа. В Англии ему для начала отказали в постоянном виде на жительство, однако финансовая помощь Всемирного Конгресса PEN-клуба в Лондоне хоть немного, да помогала. Но лишь до времени. 16 мая 1940 года англичане, основательно перепуганные вторжением немцев во Францию и со дня на день не без основания ожидающие победоносного штурма собственных берегов, согнали всех лиц, не имеющих английского гражданства, на двести миль к северо-западу от Лондона, в Хайтон близ Ливерпуля, где одновременно с Крамером оказались не только поэт-коммунист Куба (Курт Бартель), но также сын и внук Зигмунда Фрейда. Затем поэта перевезли в лагерь возле Дугласа (столицы острова Мэн), что как-никак было лучше, чем Дахау, куда попал непокладистый Курт Шушник, но... концлагерь есть концлагерь: на каждого – один джутовый мешок, и приходится радоваться, что водопровод рядом, у других и того нет. Даже на идиллическом кельтском острове посреди Ирландского моря это вновь концлагерь; сюда поэта перевели 23 августа. Лишь 18 января 1941 года PEN-клуб добился освобождения поэта. Начался долгий «английский» период жизни Крамера, жизнь провинциальная, в основном скучная, но свободная, к тому же полная новых встреч и знакомств – с английской детской писательницей Элеанор Фардзон, сумевшей добиться того, чтобы поэту предоставили работу библиотекаря, с поэтом Эрихом Фридом и многими другими, к тому же Крамер вел обширную переписку (еще до «лагерей» эта переписка ненароком чуть не превратила его... в гражданина Доминиканской Республики, в библиотекаря в университете Санто-Доминго, куда он писал в мае 1939). Два года прожил Крамер на гроши PEN-клуба и скудные заработки на Би-Би-Си: он писал стихи специально для трансляции их на Германию и Австрию. Случалась в них и радость от побед «пятиконечной звезды» над свастикой. Как арийская бабушка спасла своего внука от ареста в

«Остмарке», так эти стихотворения в 1970-е годы позволили начать печатать стихи Крамера и в ГДР, и в СССР: фактически раньше, чем его открыли на родине. Хотя первый раз он был напечатан в СССР еще в 1938 году, в журнале «Интернациональная литература» в переводе В. Рубина. Называлось стихотворение загадочно – «Город безработных». Работая над Крамером почти полвека, я был уверен, что оригинал этого стихотворения никогда не найдется. Однако он отыскан – причем на виду: см. в нашем издании его под «родным» названием – «Остывшие трубы». Кто переименовал? Цензура? Редактор? Голос истории молчит.

С 1 января 1943 года (иначе говоря – со своего дня рождения) Крамер становится библиотекарем в старинном Гилфорде, графство Суррей, 50 километров от Лондона; что же, могло быть хуже. Вскоре стараниями друзей-эмигрантов у Крамера в Лондоне выходит новый поэтический сборник – «Изгнан из Австрии». Человеку, привыкшему читать по-немецки, вначале трудно освоиться с отсутствием привычных ä, ö, ü, ß – и видеть вместо них ae, oe, ue, ss – но это не худшее из зол. Важно, что есть книга, и важно, что нацисты разгромлены под Сталинградом, под Эль-Аламейном, важно, что союзники вывели из войны Италию... И важно, что можно писать стихи. Ничего иного Крамер, по сути дела, не умеет и уметь не хочет. Даже расставание с женой, с Ингой Хальберштам, осенью 1942 прошло, судя по всему, спокойно.

Об Англии Крамер написал сравнительно немного, за несколькими исключениями. Педервов среди этих стихотворений нет. Сколько ни объяснялся он в любви к спасшей его второй родине, он так и остался эмигрантом, которому не приходится выбирать. Лучшие его стихи – все о том же, о тех, кто «не споем о себе», но исключительно о тех, кто остался на родине первой.

Война кончилась, однако и после войны Австрия осталась оккупированной. Оккупация, конечно, была (как и концлагерь на острове Мэн), «вегетарианская»: раздел страны на четыре части (по числу победивших союзников), Крамер вполне мог бы рассчитывать на жизнь в «британском секторе». Вместо этого, стараниями друзей выпустив в Вене две книги стихотворений, о которых речь шла выше, Крамер некоторое время размышляет... и 25 октября 1951 года принимает британское подданство. Это не случайно: из 130 тысяч «интеллигентных» австрийских эмигрантов, оказавшихся в Англии, на родину за десять лет вернулись лишь 4 тысячи; оказавшийся в их числе знаменитый художник Оскар Кокошка был, сколько можно судить,

единственной заметной фигурой. Не без основания эмигранты боялись превращения Австрии в очередное государство с коммунистическим режимом.

Трижды (1950, 1954 и 1957) в состоянии тяжелой депрессии Крамер попадает в больницу. Выходит – и возвращается к обязанностям библиотекаря. А также, конечно, к писанию стихов. К новому, очень большому сборнику «Хвала отчаянию» (подготовлен в 1946 году, вышел в свет посмертно, в 1972 году, к 75-летию со дня рождения). И постепенно складывает циклы для все новых и новых книг. Которые, увы, некому печатать, хотя осенью 1955 года войска победителей Австрию покинули. Наконец, в 1956 году, в Зальцбурге, стараниями поэта Михаэля Гуттенбруннера выходит книга избранных стихотворений Крамера – «О черном вине». Книга немного жульническая: в избранное из прежних сборников прибавлено немало новых, никогда не печатавшихся. Гуттенбруннер знал, до какой степени хочется Крамеру увидеть в печати именно новые стихи. Крамер все чаще возвращается к жанру пейзажной лирики, которым владел изумительно – но не злоупотреблял: он предпочитал писать о живых людях. Даже пейзаж заброшенного сельского кладбища, на крестах которого нет ни единой строки – этот пейзаж все равно населен теми, кто жил на этой земле и кто лег в нее.

Обратим внимание, что очень многие, и часто лучшие его стихотворения не попадали не только в книги Крамера, но даже в их рукописные проекты. Сохранились свидетельства о том, как в Англии слушательницы сбегали с его выступлений, услышав, допустим, стихотворение о венском борделе, поэт не ограничивал себя ни в сюжетах, ни в лексике. Стихи, к счастью, уцелели, хотя кто знает, что автор мог уничтожить или потерять, да и опять-таки что лежит в архиве.

26 сентября 1957 года совершенно больной Крамер все-таки возвращается в Вену, чтобы прожить немногие оставшиеся ему месяцы в комнате, принадлежащей министерству народного просвещения. 1 января 1958 года лично будущий федеральный канцлер Австрии Бруно Крайский назначает ему почетную «пожизненную пенсию». Но как всегда – слишком поздно; известно лишь несколько кратких стихотворений, созданных уже в Вене. 3 апреля того же года после внезапного инсульта Теодор Крамер умирает. В мае того же года ему посмертно присуждается та же премия, с которой некогда началась его литературная карьера – «Премия города Вены». Огромный архив Крамера остается на попечении молодого друга, с которым Крамер познакомился в Англии – Эрвина Хвойки (1924–2013).

Эрвин Хвойка в 1960 году даже сумел издать еще одну книгу стихотворений Крамера – «...а кто-то расскажет» (книга составлена почти исключительно из того, что печаталось только в периодике). Потом – молчание, и лишь в семидесятые годы к Крамеру начинает пробуждаться интерес читателей. Не буду отвлекать внимание перечислением книг, вышедших в 70-е годы XX века, но перелом наступил вместе с выходом книги документов и биографических материалов по Крамеру («Поэт в изгнании», Вена, 1983, книгой избранного «Шарманка из пыли» (Мюнхен, 1983) и уже не единожды упоминавшимся трехтомником (1983–1987), позже к вошедшим в него стихотворениям добавилась еще сотня или две, но главное дело было сделано: Теодор Крамер наконец-то занял свое место в пантеоне великих поэтов Европы.

Однако даже для читателя, говорящего по-немецки от рождения, читать Крамера – непростое дело. Почти каждый его сборник сопровождался небольшим словариком, разъясняющим слова, употребленные поэтом в тексте. Иные из них по объективным причинам давно вышли из употребления – такие, как «ремонтёр», что в армии означало человека, обязанного следить за состоянием здоровья и боеспособности лошадей и своевременной их подмене; иные – как «пилав» (сладкий плов), «мет» (мёд), «физоле» (фасоль), «крен» (хрен) понятней русскому уху, чем немецкому; иные – «марилле» (абрикос), «парадайзер» (сорт помидоров), «мост» (забродивший виноградный сок) – скорее разговорные австрийские или южнонемецкие реалии, обиходные слова, чем нормативная лексика; чисто венский итальянизм «трафикант» (торговец сигаретами) – и это не считая сотен совершенно специфических слов из профессиональной лексики, от терминов работы шелушителей орехов и торговцев свиной щетиной – до слов, которые внесла в жизнь Крамера вынужденная эмиграция («фиш энд чипс», «стаут», «блэкаут» и т.д.). Нелегко читателю, еще хуже переводчику, хотя после первой сотни стихотворений начинаешь понимать и то, чего в словарях стыдливо нет. Герои Крамера удивительно похожи на героев Брехта времен «Домашних проповедей»: повези чуть больше в жизни крамеровским Марте Фербер, Барбаре Хлум, Йозефе – глядишь, получилась бы у них жизнь как у брехтовской Ханы Каш... да вот не получилась; Билли Холмс только тем и отличается от полоумного брехтовского Якоба Апфельбека, что он своего папашу не сам убил, а льдом обложил, чтобы его пенсия не прервалась; наконец, немногие еврейские персонажи Крамера (старьевщик Лейб Хиршкрон, торговец мылом Элиас Шпатц, разносчик жестяного товара Мойше Розенблит – в оригинале «Фогельхут», но уж

тут пусть простит меня читатель, фамилию пришлось поменять, как и имя самоубийцы Арона Люмпеншпитца пришлось поменять на «Лейба») словно сошли даже не со сцены Брехта, а со страниц его «Трехгрошового романа». Трудно сказать, насколько были поэты знакомы с творчеством друг друга. Однако жизнь выпала им, ровесникам, почти одинаковая, довольно короткая, эмигрантская и вовсе не радостная. И стихи Крамера, тысячи коротких баллад и зарисовок, складываются в огромную панораму европейской жизни двадцатых, тридцатых, сороковых годов XX века. Это – ни в коем случае не жалкий жанр «человеческого документа», это – творение мастера, всю жизни стремившегося написать о тех и для тех, кто сам о себе никогда не напишет, чья жизнь канет в забвение на второй день после их смерти. Герои его говорят на том языке, какой только и знают. А Крамер всю жизнь только и хотел, что «быть одним из них»: и это ему удалось.

Крамер знал не столько венские кафе, сколько мелкие трактиры и шалманчики в пригородах и деревнях. Любимые слова Крамера: пыль, копоть, ржавчина и им подобные встречаются в его стихах тысячи раз. Он многократно словно пытается написать на одну и ту же тему какое-то свое «главное» стихотворение, причем изредка это ему удается: второй раз писать о бунте в лепрозории он вроде бы не стал. Или стал? Кто знает, четыре пятых его наследия все еще остаются неизданными и, кажется, после смерти Эрвина Хвойки никто этими публикациями больше не занимается. Едва ли нынешнее поколение прочтет существенно больше того, что уже опубликовано, но пока что есть, то есть. Слабым утешение служит то, что стихи, написанные Крамером в последнее десятилетие в жизни, пожалуй, слабее более ранних, но пусть с этим разбираются грядущие поколения.

Надо заметить: во всех работах о Крамере говорится о том, что стихи он писал с детства и безуспешно пытался то там, то здесь печататься. Однако в его современных изданиях нет ни единого произведения, которое датируется более ранней датой, нежели 1919. Исследователь творчества Крамера Константин Кайзер прямо указывает, что стихи Крамера от 1919–1925 года то ли не сохранились, то ли сознательно были автором уничтожены. Есть основания думать, что в юности поэт искал собственный стиль, и косвенным доказательством этому служит самый ранний из доступных нам циклов – «Чума» (1925), поэтика которого куда больше напоминает Георга Гейма и Готфрида Бенна, чем творчество самого Крамера.

Крамер нередко писал о себе, определенно не принадлежал ни к иудаизму, ни к христианству, но в день памяти матери неуклонно

зажигал поминальную свечу, а его стихотворение «Вена. Праздник Тела Христова, 1939» – возможно, вообще лучшее антифашистское стихотворение в австрийской поэзии, как и крамеровский же «Реквием по одному фашисту» (фашист – выдающийся австрийский поэт Йозеф Вайнхебер, покончивший с собой в 1945 году). Ключом к его пониманию роли поэта оказывается стихотворение «Фиш энд чипс» (т.е. «рыба с картошкой» в ее скудном английском варианте военного времени, когда еще не умерла традиция вываливать блюдо во вчерашнюю газетку и есть руками). Поэт просит в нем не посмертной славы – хотя, конечно, «...не худо бы славы, / Да не хочется славы худой» (И. Елагин) – а... «рыбы с картошкой», в час, когда протрубит труба Судного Дня.

Горстка рыбы с картошкой в родимом краю –
все, кто дорог мне, кто незнаком,
съешьте рыбы с картошкой в память мою
и, пожалуй, закройте пивком.
Мне, жившему той же кормежкой,
бояться ли судного дня?
У Господа рыбы с картошкой
найдется кулек для меня.

Прочтите книгу Теодора Крамера, почти полвека переводившуюся мною, и помяните, российские читатели, самого скромного из поэтов Австрии именно так, как он завещал.

Это не извечное «забудьте меня, сожгите после моей смерти все мои рукописи» (все одно человек умирает с надеждой, что эту его волю никто не исполнит, как и случилось с Горацием, с Кафкой, с Набоковым). Крамер отлично знал, что для его стихов время настанет. Может быть, не думал он разве что о том, что его стихи раз за разом будут выходить в переводах на другие языки, прибавляя ему все новых почитателей: лишь на русском языке отдельное издание произведений Крамера уже третье.

Так что есть лишь скромная просьба – «помянуть». И точное указание – как и чем.

Так помянем же.

Твое здоровье, читатель.

Евгений Витковский
1973–2019

Из сборника
«Условный знак»
(1929)

ВНАЙМЫ

Я ушел из города по шпалам,
мне – шагать через холмы судьба,
через поймы, где над красноталом
одиноко кличут ястреба.
Рук повсюду не хватает в поле;
как-нибудь найдется мне кусок.
Но нигде не задержусь я доле,
чем стоит на поже колосок.

Если бродишь по долине горной,
среди корчевщиков не лишний ты;
в хуторах полно работы шорной,
всюду в непорядке хомуты.
На усадьбах рады поневоле
ловкой да сноровчатой руке.
Но нигде не задержусь я доле,
чем зерно в осеннем колоске.

Принялись давитьщики за дело,
потому как холод на носу.
Я гоню первач из можжевела,
пробу снять заказчику несусь.
Любо слышать мне, дорожной голи,
отзывы хозяев о вине.
Но нигде не задержусь я доле,
чем сгорает корешок в огне.

1927

ХЛЕБА В МАРХФЕЛЬДЕ

В дни, когда понатыкано пугал в хлеба
и окучена вся свекловица в бороздах,
убираются грабли и тачки с полей
и безлюдное море зеленых стеблей
оставляется впитывать влагу и воздух.

И волнуется хлеб от межи до межи, –
только в эти часы убеждаешься толком,
как деревни малы, как они далеки;
и трепещут колючей листвой бодяки,
лубенея на пыльном ветру за проселком.

Постепенно в пшенице твердеет стебло,
избавляются зерна от млечного сока;
а над ровным простором один верболоз
невысокие кроны вдоль русел вознес,
отражаясь в серебряной глади потока.

Только хлеб в тишине шелестит на ветру
да кузнечик звенит, – вся земля опочила;
лишь под вечер, предвидя потребу косьбы,
деревушки, в прозрачной дали голубы,
на часок оглашаются пеньем точила.

1928

ГОД ВИНОГРАДА

Лоза в цвету – всё гуще, всё нарядней,
долина по-весеннему свежа;
я коротаю год при виноградне,
определен деревней в сторожа.
Почую холод – силу собираю,
зову сельчан, всю трублЮ в рожок:
раскладывайте, мол, костры по краю,
палите всё, что просится в разжог.

Лоза в листве, черед зачатых гроздам,
страшили позамотаны в тряпье;
меж тыкв уютно греться по бороздам,
лесс налипает на лицо мое.
Харчей промыслю за каменоломней, –
где прячусь я, не знает ни один, –
колени к подбородку, поукромней,
и засыпаю, обхвативши дрын.

Зреют грозды, множится прибыток, –
тычины подставляю; где пора,
сметаю с листьев и давлЮ улиток,
меж тем в долине – сенокос, жара.
Слежу – не забредет ли кто нездешний,
лещину рву, хоть и негуст улов,
грызу дички да балуюсь черешней
и дудочкой дразню перепелов.

Созрели грозды, и летать не впору
объевшемуся ягодой скворцу;
пусть виноградарь приступает к сбору,
а мой сезонный труд пришел к концу.
Всплывает запах сула над давилней,
мне именно теперь понять дано:
чем урожайней год, чем изобильней,
тем кровь моя зреее, как вино.

1927

В ЛЕСОВОМ КРАЮ

Под листвою – стволы, под колосьями – с,
под корнями – скала на скале;
вот и осень: от ветра трещат кочан
и соломинки клевера в поле черны,
изначальность приходит к земле.

Что ни русло – обрыв, что ни устье – овраг
(только чахлая травка вверху);
проступают в кустарниках древние пни,
и буреют утесы, как будто они
лишь сегодня воздвиглись во мху.

Створки древних моллюсков под плугом хрустят
в темном мергеле, в се, в песке;
под побегами дремлет гнилая сосна,
виноградник по склонам течет, как волна,
и кричит коростель вдалеке.

1927

ПОСЛЕДНЕЕ СТРАНСТВИЕ

Бродяжничество долгое мое!
К концу подходит летняя жара.
Пшеница сжата, сметано стожье
и в рост пошли по новой клевера.

Благословенны воздух и простор!
Орляк уже не ранит стертых ног;
рокошет обезьягодевший бо
и вечером всё чаще холодок.

Я никогда не ускоряю шаг,
не забредаю дважды никуда;
мне всё одно – ребенок и батрак,
кустарник, и бульжник, и звезда.

1927

ПОСЛЕДНЯЯ УЛИЦА

Эта улица, где громыхает трамвай
по бульжнику, словно плетется спросонок
прочь из города, мимо столбов и собак,
мимо хода в ломбард, мимо двери в кабак,
мимо пыльных акаций и жалких лавчонок.


Мимо рынка и мимо солдатских казарм,
прочь, туда, где кончаются камни бордюра,
далеко за последний квартал, за пустырь,
где прибой катафалков, раздавшийся вширь,
гроб за гробом несет тяжело и понуро.

И в конце, на последнем участке пути,
вдруг сужается, чтобы застыть утомленно
у ворот, за которыми годы легки,
где надгробия и восковые венки
принимают прибывших в единое лоно.

1928

УСЛОВНЫЙ ЗНАК

Проселком не спеша бреду.
Гадючий свист на пустыре.
Поди-ка утаи нужду,
дыра в одежке на дыре.
Так от дверей и до дверей
бреду с утра и до утра
и только горстку сухарей
прошу у каждого двора.

А кто не даст ни крошки мне,
того нисколько не браню 
рисую домик на стене,
а сверху дома – пятерню.
Здесь не хотели мне помочь –
смотрите, вот моя рука.
Заметят этот знак и в ночь
сюда подпустят огонька.

1927

* * *

Если хочет богадельщик
наскрести на выпивон,
то, стасивши из кладовки
инструменты и веревки,
на пустырь выходит он.

Там, где падаль зарывают,
можно выкопать крота.
Воронье орет нещадно
и, хотя уже прохладно,
голубеет высота.

Богадельщик в землю тычет
то лопатой, то кайлой,
он владельца шкурки гладкой
зашибает рукояткой,
чтобы сразу дух долой.

Опекун скандалить станет –
нализались, подлецы!
С кротолова взятки гладки,
лишь винцо шибает в пятки
хмелем затхлои кислецы.

1927

УЖИН

Над домом вечер тяжело сник.
Скоблит колоду ученик
и соскребаёт со столов
ошметья сала и мослов.

Шумят в пекарне за стеной,
повсюду тяжкий дух мясной,
рабочий фартук, кровью сплошь
загваздан, стал на жесть похож.

Он замер с тряпкою в углу;
он видит, как бредет к столу
мясник – старик, но буд[у]тков –
и двое старших мастеров.

Зовут: мол, скромника не строй.
На блюде – шкварки; пир горой.
Хозяйский пес слюну пустил.
Тут парню не хватает сил.

Он видит тучи синих мух,
он чует хлеба смрадный дух.
Блестит прилавок, словно лак,
рука сжимается в кулак.

Один из младших мясников
глядит на парня: ишь каков, –
и, поучить решив уму,
дает затрещину ему.

Багровый след во всю скулу;
парнишка тащится к столу
и там, себя в руках держа,
глядит на лезвие ножа.

1927

КРОВАТЬ

И после скитаний, и после труда,
днем, вечером, ночью – короче, всегда
с терпеньем кровать ожидала меня,
собой половину жилья утесня.

От сырости и от мороза не раз
спасал меня этот подгнивший матрас,
хотя с голодухи качало порой,
хотя надувался водою сырой.

Но, видно, пришли окаянные дни –
торчат у стены только козлы одни.
О место, где прежде стояла кровать, –
здесь женщинам долго уже не бывать!

Укрой, схорони! Возврати мне мечту,
мой потный матрас у меня в закуту.
Ложусь и в отчаяньи пробую я
дождаться шарманщика Небытия.

1927

МОТЫГА, ЗАСТУП, ДОЛБНЯ

На двор нисходит вечер, и почти
совсем темно становится в клетки.
Запылены, в последнем свете дня
стоят мотыга, заступ и долбня.

Мотыга не ходила со двора,
картошку рыла с самого утра.
Хозяйка с ней весь день трудилась впрок,
и вот мешки набиты по шнурук.


И заступ тоже чести не ронял,
он целый день дорогу починял.
Его под вечер, вымотан всерьез,
хозяин сгорбленный сюда принес.

В карьере наработалась долбня,
мельчила честно крошево кремня.
На небе день как раз сменился тьмой,
хозяйский сын долбню принес домой.

Домой вернулись трое, все в пыли,
свой инвентарь, понятно, принесли.
Семья в дому, и дремлют взаперти
мотыга, заступ и долбня в клетки.

1927

КОМНАТНЫЙ МАЛЯР

Покрасил много комнат 
и нынче тем же занят;
бывает, выйду из жилья –
вмиг неуютно станет,

На потолочных балках грязь,
проела плесень дранку;
всего-то дел – грунтуй да крась,
передвигай стремянку.

Стена под краскою густой
шипит и пузырится,
и пахнет от ведра бедой,
глинтвейном и корицей.

Пусть ваша выберет семья:
что в спальне, что в гостиной;
покрасил много комнат я –
не жил бы ни в единой.

1927

ПЕСНЯ ПО ЧАСАМ

К восьми над рынком – тишь, теплынь;
как сода, день истаял в синь;
в навозе тонут воробьи,
сидит громила в забыты
у стойки.

Сойдется в десять цвет пивнух,
в гортань ползет коньячный дух;
товар панельный в сборе весь,
но за деньгой в карман не лезь –
обчистят.

Вот полночь: наползает мрак,
кто мерзнет – нюхает табак;
наизготовку – сталь ножа,
от жалости к себе дрожа,
раскиснешь.

Горчинка – два часа утра,
для шлюх – последняя пора.
Вконец пустеет тротуар.
Плати: додешевел товар
до точки.

Четыре: день недалеко;
хлеб вынут, скисло молоко,
бредет домушник и, журча,
течет пьянчужечья моча:
о Боже.

1927

ДВОЕ ЗАТРАВЛЕННЫХ

Мой братец Мойше Люмпеншпитц,
ответь: ну почему
ты удавился, – чтобы
теперь меня трясло бы
среди улиц и в дому?!

Я опасался за тебя:
торгуя, ты молчал,
был очень независим,
но груды злобных писем
так часто получал.

Ты стал, как зверь в своей норе,
и дик, и одинок:
ты вздрагивал от звона
злодея-телефона
и трубку снять не мог.

Ты дверь на стук не открывал, –
о, ты хлебнул с лихвой;
тряслись мои поджилки,
но я носил посылки
в дом зачумленный твой.

А что лежало, Мойше, в них,
ну что за чепуха?
В четверг – хвосты крысиные,
а в пятницу – гусиные
гнилые потроха.

Я слух воскресный счел одной
из худших небылиц, –
кто мог бы знать заране?
Повесился в чулане
ты, Мойше Люмпеншпитц.

Со страху, Мойше Люмпеншпитц,
легко в удавку влезть.
Кровь холодеет в жилах,
и я давно не в силах
не выпить, ни поесть.

Ты был со мной, я был с тобой;
ответь: ну почему
ты удавился, – чтобы
взамен меня трясло бы
среди улиц и в дому?!

1927

РЕНТА

Джон Холмс и Билл, его сынок,
уютно жили; шла
по почте рента Джону в срок –
тридцатого числа.
Случился грустный номер –
родитель взял да помер;
такие вот дела.

«Джон Холмс, я так тебя любил;
без ренты мне – беда!»
И вот папашу робкий Билл
обклат кусками льда.
Заклеил щели, фортки,
темнела в белом свертке
отцова борода.

Билл закупал двоим еду –
отец хворает, чай.
Воняло, – Билл на холоду
варганил завтрак, чай.
А почтальон клиенту
носил всё ту же ренту:
ну что ж, хворает, чай.

Уже зима невдалеке,
а Холмсы всё вдвоем,
Билл – в уголке, Джон – в леднике,
и каждый – при своем.
На дверь, на стены, на пол
сынок духов накапал
и замерзал живьем.

«Джон Холмс, – шептал ночами Билл, –
любимый мой отец!
Тебя я вовсе не убил,
мне жаль, что ты мертвец.
Не зачервивь, не надо,
ведь я рехнусь от смрада,
коль ты сгниешь вконец».

И все-таки пришел каюк
терпению сынка.
Джон Холмс во всё, во всё вокруг
проник исподтишка...
Нашли висящим Билла;
и рента, видно было,
торчит из кулака.

1927

ОТЧЕТ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ
ТОРГОВЦА-НАДОМНИКА ЭЛИАСА ШПАТЦА

I

Элиас Шпатц – умелый оптовик.
Вот он идет домой; он небогат,
тут мыло штабелями – он привык:
еще чего – платить деньгу за склад?

Но день еще не кончен, как назло;
отмыть непросто потные следы,
и ящики ворочать тяжело,
чтоб взять из рукомойника воды.

II

Гешефт сегодня – ничего себе;
пусть пахнут мылом небо и земля, –
Элиас Шпатц к себе приводит «бэ»,
и надо проползти за штабеля.

Элиас Шпатц, да ты герой на вид!
Разденься да в постель скорее влезь!
Но девка всё испортить норовит:
«Элиас Шпатц, чем так воняет здесь?»

III

Элиас Шпатц удачлив, потому
растут запасы у него в гнезде;
но лишь для мыла место есть в дому.
Раздеться бы, умыться – только где?

Элиас Шпатц, окончивши дела,
идет в кабак топить тоску в питье,
но сливовица мало помогла:
замерз под утро в парке на скамье.

1927

Из сборника
«Календарь»
(1930)

О ВЕЛИКОМ ХОЛОДЕ
НАКАНУНЕ НОВОГО 1929 ГОДА

На Святого Стефана* пришли снегопады,
завалило распадки, дома, палисады,
и над плавнями, белый настил распуша,
стекленела и стыла стена камыша.

Встала стужа, колодцы до дна проморозив,
у саней отставала оковка полозьев;
старики говорили, что, мол, никогда
не случалось такие видать холода.

Ветер льдисто хрустел в человеческом горле,
батраки простужались и наскоро мерли;
задубевший, обглоданный труп оленька
отыскался у самых дверей кабака.

Звезды, вестники долгой морозной погоды,
озирали озимых убитые всходы,
виноградники, сгинувшие в холоду,
и озерную гладь, что лежала во льду.

В полыньях, не умея добраться до суши,
били крыльями и примерзали крякуши,
и любой, кто решался дойти по снежку,
их легко набирал в камышах по мешку.

1929

.....
* 26 декабря.

ЗИМНЯЯ ОТТЕПЕЛЬ

Выдается тепло в середине зимы:
застилается всё пеленой дождевою,
оживают ручьи этой странной порой,
и топорщится жнива стернею сырой,
и гуденье идет сквозь еловую хвою.

Отступают снега, и увидеть легко,
как под паром покоятся мрачные зяби,
как на старых покосах гниют клевера,
как погрызена зайцами в рощах кора,
ибо дочиста съелись остатки кольраби.

Сучья, стужей отбитые, наземь летят;
свекловица, что на поле сложена с лета,
раскисает и пенится бурт за буртом,
чтобы смрадом горячим окутать потом
чуть обсохшие ветви кустов бересклета.

Что ни день, то хозяйству разор да урон –
мокнул ветошь и пакля под черной соломой;
от села до села – непролазная грязь,
и в тумане плывет, всё мрачней становясь,
солнца, странно разбухшего, шар невесомый.

1928

ЗАТОПЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ

От весеннего ветра чернеют луга,
постепенно темнеют и тают снега,
но канав не хватает; кипя и бурля,
набухает растаявшим снегом земля
и уходит под полюю воду.

Дамбы хмуро застыли по горло в воде,
вся равнина блестит, – лишь межа кое-где
разрезает на ломтики мутную гладь;
крест над церковью будет в закате пылать,
осеняя весеннюю воду.

Далеко друг от друга стоят хутора,
через ил продираются лодки с утра;
воздух сладок и тих, и чиста синева,
ветер гонит волну, и густая трава
прорастает сквозь мутную воду.

1930

МАЙСКИЕ КОСТРЫ

Приходит май, и в час ночной
чисты над кряжем небеса;
но ударяют холода,
и вот кристалликами льда
впотьмах становится роса.

Протяжно рогу вторит рог,
тревогою звучат они;
спешат на склоны сторожа,
и разгораются, дрожа,
вкрут виноградников огни.

Затем в долины дым ползет,
отходит холод в высоту,
огонь мужает, – вот уже
теплее от межи к меже,
где дремлют деревья в цвету.

Туманя кипень лепестков
высоких, озаренных крон,
спасенье гроздьям молодым
приносит сладковатый дым,
струящийся со всех сторон.

1929

СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ

Повсюду стало так светло,
краснопогодью нет конца,
и в отдаленье тяжело
грохочет молот кузнеца.
Вьюнком оделась городьба;
с утра отец и старший сын
сходили глянуть на хлеба,
гумно готовят и овин.

Батрак перестелил крыльцо,
передник вздел и чинит воз,
медлительно, заподлицо
клепает ободы колес.
Батрачка, выйдя за порог,
скоблит кувшин очередной;
хозяйка мастерит пирог
с перекопч^{ен}й ветчиной.

Уже опростана подклеть
от вялых, сморщенных картох;
теперь бы солнышку пригреть,
чтоб клубень посевной подсох.
Весенний дух царит в дому,
и в погребе, и в кладовой,
и близок, ясно по всему,
черед работы полевой.

1928

ЛЕТНИЕ ТУЧИ

В самый жар, в тишине разомлевшего дня,
на мгновение солнце закатится в тучи,
и мрачнеют луга, и, во мгле возлежа,
долговязой крапивой трепещет межа,
и ознобом исходят окрестные кручи.

Обрывается в роще долбежка желны,
колокольцы отары молчат виновато;
лишь ракитовый куст зашумит невзначай
да протянется к небу сухой молочай,
увязающий комлем в земле кисловатой.

Выступает тягучими каплями сок
на репейниках в каждой забытой ложбине;
всё дряблее межа, бузина всё мертвей,
как чешуйки, жучки опадают с ветвей
и, запутавшись, мухи жужжат в паутине.

Даже осенью почва куда как жива
по сравнению с этой минутой в июле;
прогибаются тучи, и видно тогда,
как в забытом пруду загнивает вода,
где на ряске стрекозы от зноя уснули.

1928

ОБЛАВА

Стерня почерствела на бедных покосах,
жухлеют и сухо шуршат ковыли;
и столб межевой, будто нищенский посох,
торчит одиноко в прибитой пыли.
Пичуги кричать начинают с рассвета,
кустарник неспешно скудеет листвою;
никак не кончается долгое лето,
всё блещет в осоках густой синевою.

Еще и не пахнет осеннею стужей,
но вызрел шуршащий в коробочках мак,
но слышится лязг заряжаемых ружей,
но лают залиvisto своры собак,
но ругань веселая рвется из глоток,
сужаются кругом следы сапогов;
взлетают дымки, и под грохот трещоток
топорщится шерсть обреченных лугов.

Над полем буреющим – тьмы перепелок,
к подранкам по выстрелу мчат сеттера,
и кроличий бег хоть и быстр, да недолог –
для гончих в привычку такая игра.
И солнце слепит, и подходит охота
к концу... Вот и выстрелы смолкли вдали,
и запахи пороха, крови и пота
смешались с туманом вечерней земли.

1928

* * *

Вот-вот желтизной озарятся отавы,
для солнца последние сроки прошли,
цветы облетели, повыцвели травы
и ждут возвращения в лоно земли.
Солома по кромке лесов изветшала,
орляк зачервивел за несколько дней,
топорщится, будто гнилое мочало,
на пахоте ворс пересохших корней.

Покривлены межи, затоптано всполье,
в стерне шебуршит полевое зверье;
угрюмо скрипит на ветру частоколье,
и шершень в гнездо заползает свое.
Ежи в терновище готовятся к спячке,
у рытвин покрыто испариной дно;
полевки по-тихому тащат в заначки
стручки и забытое в поле зерно.

Еще доцветают вьюнки у калиток,
но скоро и жниво, и жухнувший луг,
лишая прибежища сонных улиток,
распорет на комья безжалостный плуг.
Налеплены соты, курятся лощины,
с рассвета одета в ледок борозда;
рыжеют холмы, и на выгон общинный
в недалнее время сойдут холода.

1928

ЗИМА ЗИМОЙ

В окошках потускнели стекла,
погасли угли очага;
тропа раскисла и размокла
покрылись копотью снега.

Порыву ветра с луговины
не разогнать рассветной мглы;
зайчатами до сердцевины
в саду обглоданы стволы.

Ничто не шелохнет украдкой,
простыл тепла последний след;
мороз вцепился мертвой хваткой
и на него управы нет.

1928

Из сборника


«Трясинами встречала нас Волынь»

(1931)

* * *

Когда на фронт мы ехали мы ехали впервые
в вагоне для рогатого скота,
нам так мешки мешали вещевые,
нас так томили вонь и духота.
В петлицах вяли пошлые цветочки, –
попробуй-ка в теплушке не сопрей;
и теребили мы поодиночке
пайковые пакеты сухарей.

Мы видели меж досок временами
то изгородь, то дом, то сеновал,
рукой подать до воли, – но за нами
надзор, понятно, не ослабевал.
Хотя и был просвет обидно тонок,
но с жадностью глядели мы, юнцы,
на сказочные лакомства лавчонок –
сухие крендельки и леденцы.

Лишь осознав, что избежать не можем
дороги этой, под покровом тьмы 
устав и в месте облегчась отхожем,
помалу успокаивались мы.
Затем, свернув валик плащ-палатки,
устроившись на ледяном полу,
ныряли мы, играя с жизнью в прятки,
в забвение и радостную мглу.

1930

* * *

Угрюмо сорняком обсажен черным,
дремал в долине переложный луг,
неспешно заволакивался дерном,
и с голоду над ним орал канюк.
Дотаял снег и обнажил суглинки –
все борозды, что некому полоть;
как жалкий ворс, топорщились травинки,
а воздух всё светлел до мая вплоть.

Пока не приключился день дождливый;
для сорняков настала благодать:
понаросло полыни и крапивы,
да так, что даже почвы не видать.
Цвела пастушья сумка, стебли спутав,
грубел чертополох, и без конца
висел над логом крик сорокопутов,
расклевывавших заросли горца.

В осиных гнездах умножались соты;
неукротимо крепи сорняки,
и местности обычный дух дремоты
навеивали только сосняки.
Осотом щеголял любой пригорок,
кружили семена и мошकारа,
и диковато, как полночный морок,
смотрели из лощинок хутора.

1929

РАЗОРЕННЫЕ ЗЕМЛИ

Проделав марш средь сосняков на кручах,
мы очутились в выжженной стране,
где в проволоках рваных и колючих
торчала головня на головне.

Лишь очень редко стебелек пшенички
вдали качал метелкою простой;
и как-то неохотно с непривычки
мы приходили в хаты на постой.

Там жили полнотелые русинки
к одним в придачу дряхлым старикам,
война, однако, провела морщинки
по женским лбам, и шеям, и щекам.
И если кто из нас до икр дебельных
оказывался чересчур охоч,
то видел, как ряды цепочек белых,
гирлянды вшей, в траву сбегали прочь.

Нелегкий путь безропотно протопав,
в палатках засыпали мы вповал,
а свет луны тянулся до окопов
и никаких границ не признавал.
Лишь не спалось в хлевах голодным козам,
они до рани блеяли с тоски,
покуда легким утренним морозом
нам ветер не прихватывал виски.

1929

* * *

Трясинами встречала нас Волынь,
пузырчатыми топиями; куда
ни ткни лопатой, взгляд куда ни кинь –
езде сплошная цвеляя вода.
Порою тяжело ухал миномет,
тогда вставал кочарник на дыбы,
из глубины разбуженных болот
вздвигались к небу пенные столбы.

Угрюмый профиль вязовой гряды
стволами оголенными темнел
у нас в тылу, и черный блеск воды
орудиям чужим сбивал прицел.
Позиция была почти ясна.
Грязь – по колено; яростно дрожа,
сжирала черной пастью глубина
все робкие начатки дренажа.

В нее, как в прорву, падали мешки,
набитые песком; и отступил,
покуда кровь стучала нам в виски,
кавалерийский полк в глубокий тыл.
Мы пролежали до утра плашмя,
держась над черной топью навесу,
и до утра, волнуя и томя,
пел ветер в изувеченном лесу.

1929

* * *

Мы улеглись на каменной брусчатке
в потемках очень тесного двора,
где фуры громоздились в беспорядке.
Вдали угрюмо ухали с утра
орудия, – но сколько там ни ухай,
однако нас на отдыхе не тронь;
и мы лежали, с вечера под мухой,
вдыхая застоявшуюся вонь.

А в лоджиях, со сна еще не в духе,
лишь наскоро перестирнув белье,
почти что нагишом сновали шлюхи
и напевали каждая свое.

И лишь одна – на самом деле пела,
да так, что хмель бродящего вина
выветривался напрочь; то и дело
покачивала туфелькой она.

И, чем-то в песне, видимо, волнуем,
пусть ко всему привыкший на войне,
вдруг встал один из нас и поцелуем
почтительно прильнул к ее ступне;
гром пушек нарастал, но, встав с брусчатки,
мы тот же самый повторили жест,
смеясь, и вновь легли на плащ-палатки
в потемках, растекавшихся окрест.

1930

ВИНТОВКИ В ДЫМУ

В конце дневного перехода
по склону вышли мы к селу;
на виноградню с небосвода
ночную нагоняло мглу.
Зачем не провести ночевки
среди шелковиц и старых лоз?
И пирамидами винтовки
поставил в темноте обоз.

И, отгоняя горный морок,
костер сложили мы один
из лоз, из листьев, из подпорок,
из обломившихся жердин.
Рыдая глухо, как с досады,
на пламя ветер злобно дул,
почти лизавшее приклады
и достававшее до дул.

Одну усталость чуя в теле,
сейчас от родины вдали,
уже не думать мы умели
о горестях чужой земли.
Мы грелись им, необходимым
теплом обуглившихся лоз,
и веки разъедало дымом –
конечно, только им – до слез.

1930

НОЧЬ В ЛАГЕРЕ

Часовой штыком колышет,
с хрустом шествуя во мраке;
нездоровьем вечер пышет,
наползая на бараки.
Приближая час полночный,
тени древние маячат;
у канавы непроточной
с голодухи крысы плачут.

Полночь проволоку ржавит,
шебурша ночным напилком;
и патрульный не отравит
жизни мошкам и кобылкам.
Ну не странно ли, что травы
зеленеют с нами рядом,
там, где грозные державы
позабыли счет снарядам!

Слушай, как трещат семянки!
Чтоб рука не горевала,
тронь винтовку и с изнанки
проведи вдоль одеяла!
Чуток будь к земному чуду!
Память о добре вчерашнем
дорога равно повсюду
и созвездиям, и пашням.

1928

ЛОШАДИ ПОД ДЕЛЛАХОМ

У полка впереди перевал, и пришлось
избавляться в дороге от пушек тяжелых,
а купить фуража на какие шиши?
Интендант покумекал и стал за гроши
продавать лошадей во встречавшихся селах.

По конюшням крестьян началась теснота,
ребра неуков терлись о дерево прясел;
но в зазимок поди прокорми лошадей, –
становились они что ни день, то худей
и глодали от голода краешки ясель.

Позабыв о грядущих вот-вот холодах,
воспрядали от сна оводов мириады,
чуя пот лошадиный, и язву, и струп,
и клубами слетались на храп и на круп,
сладоурадно впуская в паршу яйцеклады.

На корчевку, на вспашку гоняли коней, –
словом, жребий крестьянской скотины несладок;
но иные сбежали, – идет болтовня,
мол, за Дравой к исходу осеннего дня
слышно ржание беглых, свободных лошадок.

1928

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

На узловой ссадили ополченца
уже почти в потемках, как назло;
забравши скатку, шлем и всё такое
казенное, оставили в покое:
отвоевал, вали к себе в село.

Туда, где свет единственный маячил,
поплелся парень – к городской черте:
но получил жердиной по макушке –
и, не найдя ни торбы, ни горбушки,
он оклемался в полной темноте.

В предместье всё закрытым оказалось:
стояла ночь, уже совсем глуха.
Какой-то дворник сжалился над малым,
пустил поспать в углу за сеновалом
и разбудил до крика петуха.

За городом земля вконец раскисла,
но мальй потащился большаком
к себе домой, измотанный и хмурый, –
он так и не нашел попутной фуры
и всю дорогу прошагал пешком.

В который раз на придорожный камень
присел он много времени спустя
и увидал, закашлявшись с одышкой,
село родное, крестик над церквешкой –
и понял, что рыдает, как дитя.

1929

ХУДОЖНИК

Прокорма не стало, обрыдли скандалы,
ни денег, ни хлеба тебе, ни угля;
покашлял художник, сложил причиндалы –
и кисти, и краски – и двинул в поля.
Он всюду продельвал фокус нехитрый:
пришедши к усадьбе, у всех на виду
вставал у холста с разноцветной палитрой
и тут же картину менял на еду.

Он скоро добрел до гористого края
и пастбище взял за гроши в кортому,
повыскреб замерзший навоз из сарая,
печурку сложил в обветшалом дому,
потом, обеспечась харчами и кровом,
на полном серьезе хозяйство развел:
корма запасал отощавшим коровам
и загодя всё разузнал про отел.

Порой, уморившись дневной суматохой,
закат разглядев в открытом окне,
он смешивал известь с коровьей лепехой
и, взяв мастихин, рисовал на стене:
на ней возникали поля, перелески,
песчаная дюна, пригорок, скирда, –
и начисто тут же выскабливал фрески,
стараясь, чтоб не было даже следа.

1929

ВОЕННОПЛЕННЫЙ

Он в горы с конвоем пришел, к сенокостову,
в мундире еще, чтоб трудился, как все,
покуда хозяин спасает державу, –
расчистил бы непашь к осенней росе,
чтоб истово пни корчевал в непогоду,
справлял бы в хозяйстве любую нужду,
чтоб в зимние ночи, хозяйке в угоду,
по залежи горестной вел борозду.

Однако на фронте поставили точку,
хозяин вернулся: такие дела.
Хозяйка ему подарила сорочку
и с грушами штрудель в дорогу спекла.
Вот тут ему шкуру как раз да спасти бы,
не место в хозяйском доме чужаку, –
но год, проведенный средь горной усадьбы,
развевал по родине дальней тоску.

В капустном листе – настоящее масло,
по-щедрому, так, что не съешь за присест;
однако горело в душе и не гасло
прощанье, хозяйкин напутственный крест.
И странную жизнь он себе предназначил:
в единую нитку сливались года,
он вместе с косяками по селам батрачил,
однако домой не ушел никогда.

1928

ПОСЕЛЕНЦЫ

Разрешенье на жительство дал магистрат,
и трава потемнела в лесу, как дерюга, –
на окраину в эти весенние дни,
взяв мотыги и заступы, вышли они,
и от стука лопат загудела округа.

Подрядившись, рубили строительный лес,
сколотили на скорую руку заборы, –
каша весело булькала в общем котле,
и по склонам на грубой ничейной земле
созревали бобы, огурцы, помидоры.

Поселенцы возили на рынок сала
и угрюмо глядели навстречу прохожим –
только голод в глазах пламенел, как клеймо;
им никто не помог, – лишь копилось дерьмо,
всё сильнее смердевшее в месте отхожем.

В перелог уныло чернели стручки,
корешки раскисали меж прелого дерна,
на опушке бурел облетающий бук,
где-то в дальнем предместье ворочался плуг, –
но пропали без пользы упавшие зерна...

И мороз наступил. В лесосеках опять
подрядились они, чтоб остаться при деле, –
пили вечером чай на древесном листу,
и гармоника вздохи лила в темноту.
Загнивали посева, и гвозди ржавели.

1928

Из сборника
«С гармоникой»
(1936)

КОНТУЖЕННЫЙ

Тот самый день, в который был контужен,
настал в десятый раз; позвать врача –
но таковой давно уже не нужен,
навек остались дергаться плеча.
Сходил в трактир с кувшином – и довольно,
чтоб на часок угомонить хандру:
хлебнешь немного – и вдыхать не больно
сырой осенний воздух ввечеру.

По окончаньи сумерек, однако,
он пробирался в опустевший сад
и рыл окопы под защитой мрака,
совсем как много лет тому назад, –
всё как в натуре, ну, размеров кроме,
зато без отступлений в остальном, –
и забывал лопату в черноземе,
что пахнул черным хлебом и вином.

Когда луна уже светила саду,
за долг священный он считал залечь
с винтовкою за бастион, в засаду,
где судорога не сводила плеч;
там он внимал далеким отголоскам,
потом – надоедала вдруг игра,
он бил винтовкой по загнившим доскам,
бросал ее и плакал до утра.

1929

МАРТОВСКИЕ СМЕРТИ

Когда между затянут сорняки
и вспыхнет зелень озими пшеничной,
в деревне умирают старики
весенней смертью, тяжелой, но привычной.

Сам воздух, будто некая рука,
орудует, в кого постарше целя,
чтоб тот залег в могилу тюфяка,
с которой встал-то без году неделя.

Они лежат, одеты потеплей,
и слушают – занятя нет приятней, –
как треплет ветер кроны тополей,
как шумный гурт прощается с гусятней.

Взвар застывает коркой возле рта,
без пользы стынет жирная похлебка;
при них весь день дежуря, неспроста
домашние покашливают робко.

Еще успеют увидеть они,
как деревья проснутся от дремоты, –
но чем светлей, чем радостнее дни,
пономарю всё более работы.

1931

ЖАНДАРМ

Топают жандарм вдоль деревень,
в подбородок врезался ремень,
португея – с шашкой у бедра;
врассыпную, словом, детвора.

Что в шинок заходит – не смотри,
пусть в друзья не лезут корчмари;
всякому известно быть должно:
для властей – изволь открыть окно;

то ли к виноградне май суров
и по склонам виден ряд костров;
то ли снег лежит на городьбе
и коптится окорок в трубе.

Топают жандарм вдоль деревень,
побродяжек ловит, что ни день;
пролетает нетопырь во тьме,
зажигают свет в лесной корчме.

Не глядите на него вблизи:
позументы и мундир – в грязи,
и от слез его щекам тепло, –
выходи на барщину, село.

1927

В ВОСКРЕСЕНЬЕ

В воскресенье славно отдохну
(ах ты, самый жаркий день в году!);
я надену брюки и пиджак,
выйду из хозяйства на большак,
зашагаю в город, как в бреду.

Унтер из беседки – ни ногой
(ах ты, рюмка белого винца!);
над простором выжженной земли
город поднимается в пыли,
вылитый из глины и свинца.

Радуют в витринах леденцы
(ах ты, роз бумажных щегольство!);
все закрыто, к дому липнет дом,
это – город; думаю с трудом:
я пришел сюда, а для чего?

На углу меж тем трактир открыт
(ах ты, славный братик Сливнячок!),
так что стопку выпить невтерпеж,
а Маричкин поцелуй хорош,
и она остра на язычок.

За окном становится темно
(ах ты, грусть, печальная мечта!);
и стоит средь улицы батрак,
и одна лишь песня в пыль, во мрак
черной кровью хлещет изо рта.

1935

СТОЛОВКА

Где машинною гарью воняет в трактирном чаду,
где прокатные станы шипят, где ссыпают руду,
где в рабочих кварталах дерьмом зарастают дворы,
между елей столовка стоит с неизвестной поры.

Теснота между скамьями, шум и дешевый уют,
и поленту, и пиво согретое здесь подают,
развалясь у огня, холостые сидят на скамье,
отдыхают женатые перед скандалом в семье.

По столовке плывет кисеей остывающий чад,
по столам деревянным картежники глухо стучат.
Мрак ложится на ветви еловые, словно плита,
дым от фабрик ползет, и глотает его темнота.

Ливень в кровлю столовки сочится над пыльной страной,
наклоняются низко мужчины над пеной пивной,
словно нет потолка, словно здесь, заблудившись в пути,
может кран заводской по столам и скамейкам пройти.

1931

ДЕВУШКА С ВИНОГРАДНИКА

Как-то в ночь осеннюю, когда
тяжко пахла свежая барда
и собаки выли беспричинно,
мне в окошко постучал мужчина,
и ему, решившись в тишине,
я войти позволила ко мне.

Незнакомый мне до той поры,
источал он винные пары,
был пропитан духом винограда,
не ответил мне – чего, мол, надо:
сразу же и молча, не темня,
он вспахал, как заступом, меня.

Распахал и канул в темноту –
лишь остались простыни в поту.
Скоро стала я худа, как спица,
кожа тоже начала лупиться,
стало и слепому в феврале
ясно, что хожу натяжеле.

Снова зеленеет виноград,
иволги на персиках свистят.
Уж какая, да найдется ханжера,
чтоб родить, – а так хожу, брюхата,
гордая, как будто предо мной
поклонились люди всей страной.

1932

СКОТНИЦА И БАТРАК

Ты – скотница, а батрак,
в усадьбу нанялись одну.
Ты – от загона ни на шаг,
я – лямку на жаре тяну.
Хозяин с вечера залег
смотреть в перинах сны.
Тебе постелью – сена клок
и две доски даны.

Вот-вот начнется опорос,
уже коровы стельны сплошь.
Работа наша – на износ,
откуда ночью сил возьмешь?
Хозяйкин захворал малыш –
так вопль на всю семью,
а если ты подзалетишь –
заваришь спорыню.

Черны от мух судки в жиру,
доходят хлебы на поду.
Я два букета соберу
и от тебя ответа жду:
давай решай – возьми один
и прочь другой откинь.
В одном – душистый розмарин,
в другом – горька полынь.

1935

НАШИ ЧАСЫ

Душный воздух плывет от карнизов и ниш,
утопают во мраке края балюстрад,
дребезжат фонари, разбивается тишь,
и кусты у скамейки упрямо шуршат,
и всё реже слышны поездов голоса,
и на горькую пыль выпадает роса.

Разветвляется луч, и скамейка пуста.
Каблуки глубоко утопают в песке.
Приходи – нас обоих зальет темнота,
я смогу прикоснуться к любимой руке.
Куст жасмина кивает, безлюдно вокруг,
и жужжит среди веток невидимый жук.

Это наши часы – и простор, и покой, –
не такие, как дома, где шум суеты.
Стрекотаньем цикад, словно пеной морской,
переполнены травы, кусты и цветы.
Духота от железной дороги ползет,
но прохладой ночной дышит лиственный свод.

Над предместьем, над парком в полуночный час,
словно колокол, виснет ночной небосвод.
Как случайно, как хрупко связавшее нас –
то, что нас отрывает от дел и забот, –
но скамейка, что в темной аллее видна,
и сегодня, и завтра нам будет верна.

1934

ШАРМАНКА ИЗ ПЫЛИ

От света и зноя земля горяча,
трещат, рассыхаясь, скамьи,
и ветер, желтеющий дерн щекоча,
проходит сквозь пальцы мои.
Итак, это, стало быть, день выходной
для тех, кто ничтожен и нищ.
Стучатся в ограду волна за волной
шум улиц и гомон жилищ.

Размеренно кружатся тучки вдали,
листва выгорает дотла.
С акаций летят лепестки и в пыли
блестят, словно капли стекла.
И кажется – голос шарманки возник
в неспешном кружении дня,
вином и коврижкой лаская язык,
кружа и листву, и меня.

Шарманка незримая, ты наяву
из пыли поешь мне, и впредь
позволь позабыть, что на свете живу,
и ручку твою завертеть.
С зубцами незримого вала сцепясь,
комод и корзина с бельем
поют, образуя высокую связь
с набивкой в матрасе моем.


Так будем щедры... Пусть всю жизнь напролет
зазубренный крутится вал!
И вот паровозный свисток запоеет,
трава зашумит возле шпал,
уронит замазку разохшийся паз,
и вся эта пыль вразнобой
посыплется в песню, и слезы из глаз
покатятся сами собой.

1935

ЩЕДРОЕ ЛЕТО

Возле джутовой фабрики, в полдень, вдвоем
прилегли на горячий песок.
В зное летнего дня утопал оком
и поблескивал женский висок.
Пыль мешков и пеньковых волокон насквозь
пропитала и горло, и грудь,
и с растресканных губ им не раз довелось
каплю собственной крови слизнуть.

Так лежали, макая свой хлеб в молоко,
колотье унимая в груди.
Шелестящая осень была далеко,
и одна лишь теплынь впереди.
Шелушился загар, и густым, словно сок,
воздух был в эти летние дни,
и о доме, что стал бесконечно далек,
говорили впервые они.

И в полуденный зной были чувства чисты,
становились всё мягче слова.
На бегониях красных не сохли цвет 
и еще зеленела трава.
Беспредельная щедрость являлась во всем,
и жарой исходил небосклон, –
так лежали у фабрики в полдень, вдвоем,
слыша долгую песнь веретен.

1930

ЧУЖАК

Что ни вечер – гость у нас в дому:
хочет мать понравиться ему,
красится, потом зовет к столу, –
гость на главном месте, я в углу.

Я давно не видел на столе
эдакого сочного филе, –
гость умнет кусище за присест
и еще за матерью подьест.

Жир стекает у него с усов.
Мать следит за стрелками часов,
локон теребит, платком шуршит, –
гость подмигивает, не спешит.

Мать сердечко станет рисовать
на подносе, значит – марш в кровать.
В духоте лежу за часом час.
Мерно за стеной скрипит матрас.

В полночь стукнет дверь легко-легко.
Утром мать упустит молоко
на плите – на мне срывает злость.
Сливки тоже выпивает гость.

1936

* * *

Я думаю, мне было бы по силе
уютный ресторанчике завести
в таком предместье, где поменьше пыли,
для клиентуры младше тридцати.

С утра и днем всё было б чин по чину,
любой бы кушал то, что заказал,
но к вечеру бы скидывал личину
и наполнялся жизнью сад и зал.

Клиенты без различия, без ранга
с охотой стали бы наверняка
вальсировать и приглашать на танго,
хлебнув вина, а можно – молока.

Не пачкались бы скатерти, салфетки,
не преступало меры озорство,
скандалы были б очень-очень редки,
а может быть – совсем ни одного.

И мне порой приятно было б тоже
припомнить золотые времена:
я выходил бы в залу к молодежи
и вместе с нею пел бы допоздна.

1932

СТАРОМУ БРОДЯЧЕМУ ЦИРКУ

На юру, среди чертополошин,
где спокону не живал никто,
объявился цирк – не зван, не прошен:
стало воздвигаться шапито.
В пересохший грунт вонзились колья,
вздулись тенты, словно паруса,
и фургоны, встав среди приволья,
дым понаправляли в небеса.

Всё чуть-чуть проржавлено, погнуто,
отовсюду только лязг да скрип,
непорядок в ячеях батута,
очень плохо смазан кривошип;
агрегат внушает беспокойство
всем, кто цирк считает ремеслом:
как ни жаль, но сдать бы всё устройство,
кажется, пора в металлолом.

Старый цирк, времен былых осколок,
сколько ты скитался до сих пор!
Но, зайдя в деревню ли, в поселок,
где уж там рассчитывать на сбор.
По местечкам, по глубинке тяжело
натаскавшись поперек и вдоль,
ты пришел в столицу, побродяжка:
может, да и выгорит гастроль.


Но включают радио так рано –
с ним ли бой вести, в конце концов?
Победишь ли власть киноэкрана
звуками фанфар и бубенцов?


Знай ты, сколь житье в столице туго,
ты бы к нам, пожалуй, ни ногой!
Или понял, что у нас для друга
все-таки найдется грош-другой?

Наперед провал не предрекая,
кинь же вызов с пустыря судьбе,
верь же, что какая-никакая
соберется публика к тебе.
Старый цирк, пускай случится чудо:
отдохнуть в сырые вечера
пусть придет как можно больше люда
под заплаты твоего шатра!

1934

НА МАЛЕНЬКОЙ СТАНЦИИ

Кассира не видать в окошке,
нечасто ходят поезда,
в плюще весь вечер вьются мошки,
и мы не рвемся никуда 
Прижмись ко мне, мой друг усталый,
устройся возле рюкзака;
чернеют насыпи и шпалы
и провода жужжат слегка.

Давай расслабимся немного:
так полагается в пути,
передохнуть велит дорога,
и вновь по жизни побрести.
Перрона слабые подсветки,
во мрак одетый окоем,
росу роняющие ветки 
и женщина со мной вдвоем.


И ощущаешь временами
неведомое в море тьмы,
то, что исчезнет вместе с нами,
когда уйдем из жизни мы.
Текут минуты понемногу
среди темноты и тишины,
и скоро к своему порогу
вернуться мы обречены.

1931

ТРЕМ СТАРЫМ КАРТЕЖНИКАМ

Не особо холодно в углу,
так что приглашаю вас к столу,
скоротаем, братцы, вечерок:
что бы нам не поиграть в тарок?

Лучше вымыть руки наперед:
тут, глядишь, удача и попрет;
с куревом завязывать пора:
тишины потребует игра.

Вовсе ни к чему читать газету 
и о доме думать толку нет;
сбрасывая карты, игроку
надо быть все время начеку.

Выбор, прямо скажем, небогат,
если в руки не пришел пагат*,
но тому, что подросли очки,
радуются только новички

Слышен ветра свист из-за дверей.
Братцы, не жалейте козырей,
пересдайте; гляньте за окно –
там наверняка уже темно

1934

.....
* Один из старших козырей при игре в тарок.

В ПОЛЕ

На гравитациях плетя слегка,
мерцают дальние огни.
Еще острее от ветерка
тяжелый аромат стерни.
Темны пространства пустырей,
струится сырость от земли,
шуршат крапива и кипрей,
и псы разлаялись вдали.

Для мака время подошло
дозреть, коробочки клоня,
Твоей руке сейчас тепло:
она касается меня.

Движенья ветра так слабы,
и вьются у моих висков
одни лишь пенные клубы
почти незримых мотыльков.

Твой стон и сладостен, и слаб,
и мне сегодня стоит он
не больше, чем любой из жаб
под норость выбранный затон.
Струится вглубь тяжелый сок,
миг длится, жизнь уходит прочь.
Под пальцами опять песок,
уже к концу подходит ночь.

1936

УГЛЕПОГРУЗЧИКИ

Они сошли с асфальтовой дороги,
направились к платформе прямоком.
Бурты угля, как горные отроги,
лежали, припорошены снежком.
Они лопаты взяли, и умело,
без лишней спешки, принялись за дело.

Присели, ощутив усталость в теле,
забыв про холод и про темноту,
и хлеб со смальцем деловито ели,
подолгу крепкий чай держа во рту,
на ребрах чужа – такова работа –
бельишко, задубевшее от пота.

Когда иссякла ночь и уголь тоже,
казалось им – кто знает, почему, –
они грузили уголь, но, похоже,
только уголь, но еще и тьму;
легко ли он дается, час полночный,
тяжелый час дороги сверхурочной?..

1931

ЗИМНИЙ САДОВНИК

Помидоры последние сняты с кустов,
догорели ботва и листва.
Сад ухожен, и пуст, и к морозу готов,
и шуршит под граблями дресва.
Розы вкопаны в грунт, как обычно зимой,
всё закончено, и потому
я сезонных рабочих отправил домой,
чтобы с садом побыть одному.

Только вяло глядит из песка сельдерей,
да по трубам шумят ручейки,
и на грядках, за стеклами оранжерей,
из земли прозябают ростки.
Соки с []ены в стеблях, кончается год,
солнце медлит всходить поутру,
и дрожащий на уксусном дереве плод
морщит старческую кожуру.

С каждым днем всё жесточе, всё злей холода,
и порою рукам тяжело
спозаранок садовничать, – лишь иногда
дышит в стекла скупое тепло.
Одинок я, набрякшие руки грубы,
но стою, примирен до конца
с жизнью, ибо она не презрела судьбы
клубня малого и деревца.

Будь прославлен, о город, цветущий для всех
в дни, когда облетели давно
даже астры в саду; будь прославлен, орех,
постучавшийся веткой в окно;

снежнягодник – зрелая крепость ядра,
стекленеющих ягод литье;
будь прославлена, первых метелей пора
и земное служенье мое.

Кровь еще горяча, – я не думал вовек,
что она так чиста и жарка,
что еще пощадят меня ветер и снег,
как щажу я на ловле малька.
Так, сегодня я – дым, отогревший в горсти
пробужденное семя и всход,
слаб и мал, как они... Но не должен пройти
мимо тех, кто еще расцветет.

1935

СТАРИК У РЕКИ

Где город кончается и переходит в поля,
где илом и гнилью прибрежной пропахла земля,
замшелый рыбак доживает свой век, и вода
течет с незапамятных лет сквозь его невода.

В привычку – стряпня и починка сетей старику,
из города носит и нитки, и шпиг, и муку;
он дружбы не водит ни с кем, но со всеми вокруг
знаком, и выходит к порогу на первый же стук.

Бывает, зайдет поселенка, укупит леща,
к нему плотогоны погреться бредут сообща,
садутся к столу, коль погода снаружи дурит,
и все умолкают, когда старикан говорит

о мерном теченьи реки, о сетях на ветру,
об илистых поймах, о рыбе, что мечет икру,
и губы похожи его на сочащийся сот,
на гриб-дождевик, от которого споры несет.

Даются слова всё трудней и трудней старику,
не так уж и много рыбак повидал на веку,
и за день устал, и давно задремать бы ему,
и сплавщики тихо его покидают в дому.

1932

* * *

Там, где копоть кроет подъездные ветки,
что ведут до самых заводских ворот,
ни пырей, ни вязель не хранят расцветки,
щелочью и маслом вымаран осот.
Там земля буреет, напрочь обесплодев,
вар, лоскутья толкуют в котловом, хлам любой
уминают фуры тяжестью ободьев
так же, как известку и кирпичный бой.


Сколь травы полоски ни грязны, ни узки,
но полны рабочих в середине дня:
смотрят, как шлагбаум весь дрожит при спуске,
как шагает крана черная клешня.
Здесь, когда не жарко, топчутся подростки,
поиграть у рельсов тянет детвору;
ветхий мяч футбольный ударяет в доски,
и скрипит штaketник пыльный на ветру.

Угасают трубы по гудку, покорно
прочь выходит смена, молча, по-мужски,
медленно, как будто глины или дерна
тащит на подошвах грубые куски.
Газ на стены светит сумрачно и тяжело,
ветер наползает, гулок и глубокий;
только на коленях нищий старикашка
спичечный в отбросах ищет коробок.

1928

УЛИЧНЫЕ ПЕВЦЫ

Вот-вот от трясушки каюк одному,
щербат и потаскан другой;
в потемках поют возле входа в корчму,
однако ж в нее – ни ногой.

Гармонику, дрожью измотан вконец,
терзает бедняк испитый 
и такт отбивает щербатый певец
по донцу кастрюли пустой.

Плетутся сквозь город с утра до утра,
от песни один лишь куплет
остался; так редко в колодезь двора
летит хоть немного монет.

От кухонь едой пригоревшей несет;
подачки дождешься навряд;
но всё же у каждых дверей и ворот
фальцетом, как могут, скрипят.

Пьянея от горечи зимних годин,
бредут по кварталам в тоске:
о мыльной веревке мечтает один,
другой – о холодной реке.

1928

* * *

Опять акация в цвету.
Одето небо серизной,
струится отблеск фонарей
вокруг антенн и вдоль дверей,
шипит роса, густеет зной.

Опять акация в цвету.
Жара от стен ползет во тьму
и в горло, как струя свинца.
Коль денег – на стакан пивца
и только, так сиди в дому.

Опять акация в цвету.
Сгущает небо духоту,
которой без того с лихвой.
Кто похотлив – тот чуть живой,
а кто болтлив – тот весь в поту.

Опять акация в цвету
вскипает, сладостью дыша.
Ночную болью обуян
любой, кто трезв, любой, кто пьян,
кто при деньгах, кто без гроша.

Жара, дыханье затрудня,
растет, лицо щетина жжет,
спина в поту и высох рот;
довольно, отпусти меня!
Опять акация в цвету!

1936

ЩЕТИНЩИК

Ну, щеточник, еще рюмашку тминной!
Ты мне мозги не вкрутишь с кислой миной;
учти: за просто так не отдаю
щетинку первоклассную мою!

Ты как считаешь – дела нет вольготней,
чем прятаться часами в подворотне
с товаром; иль попробуй-ка спроста
поразбирать щетинку на сорта!

Свинью сработал – стало-ть, взятки гладки?
С хавроньи жирной – шиш возьмешь окатки,
на тощей – ты, паскудник, уясни –
несортовые вычески одни!

Ну нет, моя работа – не игрушки!
Бывает – целый день нигде ни хрюшки,
придешь домой с полупустым мешком
и через силу шпаришь кипятком.

Гони деньгу, не то возьмешь с нагрузкой!
И не морочь мне голову утруской,
и не качай по дурости права,
не то товар получишь черта с два.

1932

ДЕСЯТЬ ЛЕТ АРЕНДЫ

Возьми с собой корзинку и вино,
иди и подожди в саду за домом;
сентябрь настал – безветренно, темно,
и звезд не перечесть над окомом.
Попозже я приду, – разлей питье;
и парники, и астровые грядки –
здесь всё отныне больше не мое,
и завтра надо уносить манатки.

Вот артишоки, – ты имей в виду,
я сам испек их, так что уж попробуй.
Я десять лет трудился здесь, в саду,
здесь что ни листик – то предмет особый.
Налей по новой. Десять лет труда!
Зато – мои, зато хоть их не троньте.
Я пережил подобное, когда
лежал, в дерьмо затоптанный, на фронте.

Страданье – не по мне: меня навряд
возможно записать в число покорных, –
но слишком мал доход с капустных гряд
и ничего не скопишь с помидорных.
Не знал я тех, кем брошен был в дерьмо,
не знаю тех, кто гонит прочь от сада.
Хлебнем: понятно по себе само,
что верить хоть во что-нибудь да надо!

Я верю в горечь красного вина,
что день сентябрьский летнего короче,
что будет после осени весна
и что на смену дням приходят ночи;

я верю ветру, спящему сейчас,
я верю, что вкусил немного меда,
что вещи слишком связывают нас,
что из-за них нам хуже год от года.

Куда пойд[☰] ты спросишь у мен[☰]
и заночую на какой чужбине?
Вьюнку ползти далеко ль от плетня,
легко ли с грядки откатиться дыне?
Шуршит во мраке лиственный навес,
печаль растений видится воочью, –
синее в вышине шатер небес,
и не вином я пьян сегодня ночью.

1935

ПРОЩАНИЕ С ЛЕСНЫМ СКЛАДОМ

Черный иней лег на весь придворок,
никнет плющ, из жизни уходя.
У кочнов торчат ряды подпорок,
серые от ветра и дождя.
Над землей струится в позднем блеске
влажных испарений жалкий тюль,
но вот-вот мороз ударит резкий,
отливая череды сосуль.

Из-под бревен все свои пожитки
я уже достал, из тайника;
я нередко на манер улитки
заползал туда для холодка
и лежал, задремывая крот[☰]
все дела забыв, само собой;
прорастала в волосах яснотка
и ласкался ветер голубой.

Дома будет потеплей, посуше,
но тоскливе[☰]а и голодней –
там нельзя лежать и бить баклуши,
отдыхать по стольку долгих дней;
семечек возьму, на косогоре
оглянусь на склад в последний раз;
нет, не звезды погасил цикорий,
это сам я вместе с ним погас.

1932

ШЕЛУШИЛЬЩИКИ ОРЕХОВ

Они сидят вокруг стола в каморке,
и перед каждым сложены рядком
орехов строго считанные горки, –
скорлупки знай хрустят под молотком;
работают меньшие на подхвате –
не так-то просто ядрышко извлечь, –
в коробку, под замок его, к оплате,
всё остальное – на растопку, в печь.

Вот – перерыв; нехитрая уборка,
сметается метелкой шелуха;
молчат и полдничают – только корка
похрустывает, пыльна и суха.
Но передых сомнителен и хрупок:
конечно, подремать бы малышне,
однако нужно ядра из скорлупок
вылущивать едва не в полусне.

Частицы шелухи изъели горло,
но длится труд: у взрослых и детей
шершавой пылью легкие расперло
и выступает кровь из-под ногтей.
Спина и руки сведены ломотой.
Хлеб, горсть орехов и бутылъ вина –
как хорошо... Коли, луци, работай,
луци, коли, старайся дотемна.

1933

ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО

В шалманчик за рынком приходит с утра
безногий при помощи двух костылей;
он мрачен, – крепленого выпить пора, –
садится у печки, куда потеплей.
Приплелся сюда через силу, зато
сейчас помягчает блуждающий взгляд:
он ласково зимнее гладит пальто –
его по часам отдает напрокат.

Пальто это – вещь недурная весьма:
и плечи на вате, и полы до пят,
вдоль борта идет голубая тесьма,
ну, правда, нагрудный карман плоховат,
ну, правда, на швах и под воротником
подкладочный светится войлок-злодей;
дешевым пропахло пальто табаком
и потом просительских очередей.

В шалманчик к семи забежит человек,
заплатит что надо – и вмиг за порог
ныряет в пальто под начавшийся снег;
прокатчик покуда сыграет в тарок.
Он шлепает карты на стол тяжело,
глядит на часы, наконец, доиграв:
прокатное время, глядишь, истекло –
уже не пора ли насчитывать штраф?

1928

ХОЛОДНЫЕ ТРУБЫ

Безмолвен город, и квартал торговый
стоит пустым, как будто сноса ждет:
поторговаться, но купить готовый,
куда-то схлынул начисто народ.
В витринах понаставлено умело
всего, что задержать могло бы взгляд;
однако продавцы сидят без дела
и нервничают, если к ним звонят.

В слободках – скука без конца, без края,
играют в карты, оседлав скамьи,
лучам светила, как бы загорая,
подставив спины потные свои.
Домой – к чему ходить; обед несложен –
всего-то коркой размешать бурду
и, вынув ложку, как кинжал из ножен,
скрипя зубами, взяться за еду.

Придут под вечер из лесу подростки
с почти пустой корзиной ли, с мешком,
там – ягоды, и высохши, и жестки, –
мамашам их предъявят со смешком,
к порогу выйдут, тощей самокруткой
затянутся, не разжимая губ,
и долго смотрят с ненавистью жуткой
в закат, на стылый ряд фабричных труб.

1932

СТОЧНЫЙ ЛЮК

Измотан морозом и долгой ходьбой,
старик огляделся вокруг,
подвинул решетку над сточной трубой
и медленно втиснулся в люк.

Он выдолбил нишу тупым тесаком,
спокойно улегся во тьме,
то уголь, то хлеб он кусок за куском
нашаривал в жидком дерьме.

Почти не ворочался в нише старик
и видел одних только крыс,
лишь поздний рассвет, наступая, на миг
в решетку заглядывал вниз.

И зренье, и слух отмирали в тиши,
и холод как будто исчез,
и дохли в одежде голодные вши,
утратив к нему интерес.

И был он безжалостно взят за грудки,
и вынут наружу, дрожа,
и тщетно пытался от грозной руки
отбиться обтеском ножа.

1928

ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ ПРИЮТА ДЛЯ СЛЕПЫХ

Богадельная стала свалкой гнили,
из отбросов стряпалась жратва –
и слепые щеточники взвыли,
и качнуть надумали права.
Семеро пожаловались хором –
персонал, выходит, нерадив, –
расползлись, чуть живы, по каморам,
с жалобой к опекуну сходим.

Натыкались на углы страдальцы
там, где ковыляли столько лет,
по-слепецки налапали пальцы
на любой попавшийся предмет.
Медленно валаңдались по дому
от добра искавшие добра
и, соседям разгоняя дрему,
что-то бормотали до утра.

И когда рассвет забрезжил хмурый,
каждый был на лежбище своем
трижды и четырежды, как шкурой,
позамотан щеточным сырьем.
Думали – начальство гнев ослабит,
и до смерти бы лежали так, –
но к обеду с кошта снятых ябед
вышерли из дома, как собак.

1930

ПРИЕМ В ДОМ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Отныне – вот постель твоя.
Одежку в этот шкаф повесь.
Следи, чтоб не было нитья:
у нас оно не в моде здесь.

Вот эти тапки забери.
Клопов не бойся, нет почти.
Крючок на фортке – изнутри.
Запомни всё и всё учти.

Нас будет четверо: уснем,
увидишь, легши по местам.
Мы в коридор выходим днем.
Курить, понятно, только там.

Как видишь, койки широки:
да ты лежал ли на такой?
К покою склонны старики,
так ты уж нас не беспокой.

Здесь может разное бывать.
Не делай удивленный вид,
не лезь, коль кто начнет кивать
и сам с собой заговорит.

Ну, я пойду. Тебе – впервой.
Подумай, полежи ничком.
Когда черед настанет твой,
то будь приветлив с новичком.

1935

ЖИТЕЛИ ВАГОНА

Вагон, бесплатная квартира,
стоит на рельсах тупика.
Сюда доносится из мира
далекий лязг товарняка,
тут служит лестницей подножка, –
каморка, может, и мала,
а всё же места есть немножко
для колыбельки, для стола.

Живущим здесь – не до уюта,
здесь громыхают поезда,
от трассы – тяжкий дух мазута
и гарь, – а впрочем, не беда:
и здесь судьба дает поблажки,
жизнь хочет жить – и потому
не могут не цвести ромашки
и все-таки цветут в дыму.


Нам ни к чему людская жалость,
возьмем лишь то, что даст земля:
запрет вагон, побродим малость,
вдоль рельсов наберем угля.
Живем легко, не ждем напасти,
мир, как вагон забытый, тих:
видать, о нас не знают власти,
а мы не жаждем знать о них.

1932

ПО ПОВОДУ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ВЛАДЕЛЬЦА ТАБАЧНОГО КИОСКА

Лавочник-табачник, из воды
у плотины всплывший поутру,
были губы у тебя худы
и дрожали в холод и в жару.
Вышла смерть тебе – последний сорт,
да и жизнь – не шибко хороша:
был ножной протез, как камень, тверд,
и усы торчали, как парша.

Жил один ты долгие года,
тишина звенела в голове;
ставню опускал ты, лишь когда
улицы тонули в синеве.
Но порой нырял ты в темноту,
и тогда захватывало дух:
у канала, на пустом мосту
ты ловил подшепевших шлюх.

И, над ними обретая власть,
среди клопов, с отстегнутой ногой,
ты желал повеселиться всласть,
расплатившись кровною деньгой.
Знал ты этой публики пошлость 
и наутро звал себя ослом:
потому, когда серьезно влип,
понял, что имеешь поделом.

Эту дочь городского дна
ты узнал, дрожащий, в тот же миг,
как тебя окликнула она,
мертвой хваткой взяв за воротник.

Вынырнул босяк из темноты,
вынул нож, и был ты с босяком –
в миг последний так подумал ты, –
вроде как бы даже и знаком.

И, умело спущенный в канал,
даже без нательного белья,
ты в воде про то уже не знал,
как наличность плакала твоя,
вся истаяв к утренним часам:
оба руки вымыли в реке,
а потом, как ты бы сделал сам,
пили и дрожали в кабаке.

1929

ЗИМНЯЯ ГАВАНЬ

Мойше Розенблит на месте старом
утомился бизнес делать свой,
взял да и пошел со всем товаром
к Гавани далекой Грузовой.
Спустится матрос с холодных сходен
и решит на корточки присесть, –
а товар у Мойше превосходен:
есть ножи, и есть любая жесьть!

Мойше Розенблит,
или что болит?

Кто тебе шататься тут велит?

От реки ползет холодный морок,
и шпана не слышит отговорок,

Мойше Розенблит, ты старый жид!

Мойше Розенблит с лотком на пузе
что ни вечер, заявлялся в порт,
научился разбираться в грузе,
различал второй и третий сорт.
Он смотрел как флот уходит в рейсы,
но имел достаточно ума
не бурчать, коль дергали за пейсы:
грогом надирался задарма.

Мойше Розенблит,
что за странный вид,

что в порту тебя так веселит?

От реки ползет холодный морок,
и шпана не слышит отговорок,

Мойше Розенблит, ты старый жид!

Мойше Розенблит тропой в тумане
к мельнице добрался водяной.
Утром он по дырам на кафтане
был опознан уличной шпаной.
Дождь, рассвет не темен и не светел,
вот и Мойше подошел черед;
те, кого вчера жестянщик встретил,
слышали, как тихо он поет:

Мойше Розенблит,
плюнь на грустный вид,
больше ничего не заболит!
От реки ползет холодный морок,
и шпана не слышит отговорок,
Мойше Розенблит, ты старый жид!

1928

ШАГИ

Вцепившись в набитый соломой тюфяк,
я медленно гибну во тьме.
Светло в коридоре, но в камере – мрак,
спокойно и тихо в тюрьме.
Но кто-то не спит на втором этаже,
и гулко звучат в тишине
вперед – пять шагов,
и в сторону – три,
и пять – обратно к стене.

Не медлят шаги, никуда не спешат,
ни сбоя, ни паузы нет;
был пуст по сегодняшний день каземат,
в котором ты ходишь, сосед;
лишь нынче решишь, ты после суда
еще неспокоен, чужак,
иль, может, навеки ты брошен сюда,
и счета не ведает шаг?


Вперед – пять шагов,
и в сторону – три,
и пять – обратно к стене.
Мне ждать три недели – с зари до зари,
двенадцать ушло, как во сне.
Ну сделай же, сделай на миг перерыв,
замри посреди темноты, –
когда бы ты знал, как я стал терпелив,
шагать и не вздумал бы ты.

Но кто ты? Твой шаг превращается в гром,
в мозгу воспаленном горя.
Вскипает, рыдая, туман за окном,
колеблется свет фонаря.

И, вставши, я делаю вместе с тобой –
иначе не выдержать мне! –
вперед – пять шагов,
и в сторону – три,
и пять – обратно к стене.

1927

ЛАЙФЕРДЕ, НИЖНЯЯ САКСОНИЯ

Повыдохлось пламя, иссякло тепло,
нас город не любит, нас гонит село,
шагаем, шагаем  вот так-то.
Мы всё позабыли в дожде и в росе,
мы дальше от жизни, чем думают все,
кто может нас видеть у тракта.

Желтеет пустырьник и ежится дрок,
мы ночью сидим у железных дорог
и пальцы грызем, чтоб согреться,
и только блестит, как в слезах, колея –
провал разделяет владельцев жилья
и тех, кому некуда деться.

Шлагбаум звенит, значит, близок экспресс.
Видать, в пассажирах горит интерес
к бродягам, столпившимся кучкой!
Нам машет из поезда множество рук, –
ну, что же, пойдём на взаимность услуг:
мы тоже вам сделаем ручкой!

1928

ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ

В лепрозории даже зимой не топили печей.
Сторожа воровали дрова на глазах у врачей.
Повар в миски протухшее пойло больным наливал,
а они на соломе в бараках лежали вповал.

Прокаженные тщетно скребли подсыхающий гной,
на врачей не надеясь, которым что пень, что больной.
Десять самых отчаянных ночью сломали барак
и, пожитки собрав, умотались в болота, во мрак.

Тряпки гнойные бросили где-то, вздохнули легко.
Стали в город крестьяне бояться возить молоко,
хлеб и пшеничную кашу для них оставляли в лесу
и, под вечер бредя, наготове держали косу.

Поздней осенью, ночью, жандармы загнали в овраг
обреченных, рискнувших пойти на отчаянный шаг.
Так стояли, дрожа и друг к другу прижавшись спиной,
только десять – одни перед целой враждебной страной.

1929

СВИДАНИЕ С МОИМ КАБАЧКОМ

Переболевший, невзначай
зайду в привычный кабачок;
еще я слаб, как здешний чай,
еще отнюдь не бодрячок.
Здесь тусклый свет и скользкий пол,
здесь запах рыбьей чешуи
стоит в углу мой старый стол;
я здесь писал стихи свои.

У стенки выберу скамью;
совсем худа моя рука;
я сам себя не узнаю,
я стал похож на старика.
Вдоль пола тянет сквознячок,
сидят клиенты, гомоня;
зачем, любимый кабачок,
больным считаешь ты меня?

Столы, стоящие впритир,
возможность быть наедине,
незабываемый сортир,
куда случалось бегать мне.
В стаканах прежняя бурда,
привычный дух былых годин,
здесь ровно то же, что всегда:
здесь изменился я один.

1931

ЗАМЕРЗШЕЙ ПЬЯНЧУЖКЕ

Пила беспробудно в мороз и в жару,
и насмерть замерзла сегодня к утру.
Тебя и садовники, и корчмари
тут знали не год, и не два, и не три.

Был чайник твой старый помят и убог,
сходил за посуду любой черепок,
глотка отстоявшейся пены пивной
хватало для грезы о жизни иной.

Свернувшись клубком, ты умела в былом
согреться идущим от тленья теплом,
и ночью минувшей, видать, не впервой,
хмельная, уснула под палой листвой.

Любой подзаборник с тобой ночевал,
и пеной не брезгал, и всё допивал,
и каждый к утру, недовольно бурча,
давал поскорей от тебя стрекача.

Лежишь закалелою грудой тряпья,
подернута инеем блуза твоя,
и кажется нам, что промерзло насквозь
всё то, в чем тепло на земле береглось.

1929

СНЕГ

Им нужен был чай да немного тепла;
одежка сносилась, обувка текла:
погрелись, пошли, – только вьюга мела, –
что вышло, то вышло, такие дела.

Прокладчик и женщина, двое бедняг,
по рыхлому снегу брели кое-как,
по мерзлым лесам, из оврага в овраг,
теряя тряпье меж кустов и коряг.

Куда тут податься, – такие дела, –
свалились, раздеты почти догола,
к ним холод сквозь ноги вливался в тела,
и гулом была переполнена мгла.

Но женщина все же кричала вздохом,
под утро впадая в последний озноб,
мужчина разбил ей бульжником лоб,
вспорол себе вены и рухнул в сугроб.

Однажды крестьянин заехал туда,
где этих бедняг доконала беда:
глядишь, до весны сберегли б холода
кровавые раны под коркою льда.

1929

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СПОЕТ О СЕБЕ

Нет бы – о вине
петь в охотку мне,
о листве, о ветре, о судьбе;
только песнь мою
я о тех пою,
кто вовек не спел бы о себе.

Про вихор мальчика,
про клюку слепца,
про шарманку в сквере за углом,
про бубновый туз,
про чужой картуз,
про гниющий в гипсе перелом.

Гневу моему
не уйти во тьму,
с вами говорю начистоту:
в самый поздний час
думаю о вас,
кровь клокочет у меня во рту.

Петь наедине
с вами дайте мне,
чтобы, сердце песне приоткрыв,
вам постичь на миг
этот вечный крик,
ыть мож и его мотив.

1935

РОМАШКА

Где, как клинья, лезут в поле
тупиковые пути,
из бугра да из овражка
знай растет себе ромашка,
ей плевать, на чем расти.

Проползают паровозы,
травы копотью черня;
но ромашке – лишь бы лето,
искры гаснут рядом где-то,
ей ущерба не чиня.

Если ты по мне скучаешь,
то под вечер не тужи:
в самом первом, легком мраке
приходи за буераки,
за пути, за гаражи.

Миновав забор щербатый,
ты придешь ко мне сюда:
здесь откроется для взоров
зелень дальних семафоров
да еще вверху – звезда.

Ты прильнешь ко мне так тихо,
станет виться мошкара.
Ах, как сладко, ах, как тяжело,
пахнешь ты во тьме, ромашка, –
и тебя сорвать пора.

1935

Из сборника
«Изгнан из Австрии»
(1943)

ПЕСНЯ У КОСТРА В САДУ

Сложим костер,
не обойдешься, понятно, без помощи грабель;
стебель остер,
каждый сухой, – берегись ошестиненных сабель.
Фрукты собраны, сад подготовлен к зиме,
все отводки в теплице сидят, как в тюрьме,
всё, что надо, подрезано, вскопано, сложено в штабель.

Жар у костра!
Не обожгись да пожар не устрой ненароком.
Завтра с утра
бросим хозяина греться в дому одиноком:
пусть на рынок таскает свой лук до весны,
мы же в город податься до дома должны, –
всё в дыму, и листва, облетев, шелестит над потоком.

Ну, подтяни
ту же, что прежде, – иль вовсе не стало задора?
Гаснут огни,
стручья полопались, жухнут вьюнки у забора.
Время взять у хозяина полный расчет,
ибо холод уже над полями течет,
наступает зима, и по новой споется не скоро.

1935

* * *

Писать в тоске ли, в злобе
про то, как в синей робе
с мытьем полов возжусь?
Возьму для проволоочки
двадцать четыре строчки
и в них опять не уложусь.

Здесь жить не слишком тяжко:
есть брюки, есть рубашка,
я на соломе сплю.
Пусть цензоры не мажут
слов, что тебе расскажут,
как я тебя еще люблю.

Молчу про будни наши,
поверки и параши,
про то, как что ни час,
то свежий слух, что лордам
пришлось приказом твердым
отправить на свободу нас.

Пусть нынче из барака
я вышел бы, однако
с тобою бы не смог
сейчас остаться рядом:
пропитан пылью, смрадом
я весь, от головы до ног.

Во всем, всегда, повсюду
чем был – уже не буду:
годам ведем отсчет
уже иной с тех пор мы,
как в спешке на платформы
нас погрузили, словно скот.

Исписана страница,
свиданье и не снится, –
я завтра при котле
заведую баландой,
коль нынче всей командой
не увезут на корабле.

3.9.1940

Лагерь для интернированных, остров Мэн

ВЕНА: ПРАЗДНИК ТЕЛА ХРИСТОВА 939

Вышло их на улицы так мало,
совершавших ежегодный путь, –
большинство осталось у портала,
не посмев к процессии примкнуть.

К ладану всплывающему липли
ветки, обделенные листвой,
и хористы обреченно хрипли,
медленно бредя по мостовой.

Жались горожане виновато,
обнажали головы они,
удивлялись, что хоть что-то свято
всё же остается в эти дни.

Так и шли, сердца до боли тронув,
шли среди всеобщей немоты,
а над ними реяли с балконов
флагов крючковатые кресты.

1941

НАД КРУЖКОЙ БАРДЫ

Не убирайте покуда питье со стола:
время худое, так дернем – был [] те была.
В прошлую, помню, войну, не лениться веля,
нас спозаранку жандарм выгонял на поля.

Был он инстанцией высшей прожиточных норм:
столько-то вровень – тебе и скоту на прокорм,
все разносолы сдавай на потребу войне,
что утаишь – по суду разочтешься вдвойне...

Так вот у многих был [] а сплыла ветчина;
разве что ночью мололи маленько зерна,
пили из вымени и, никого не спрося,
хоть одного успевали прибрать порося.

Время ловчить научило, на ум навело:
к нам горожане порой приходили в село,
сукна давали в обмен, – да о чем говорить,
деньги годились тогда, чтоб от них прикурить.

Вот уж поганые нынче настали года!
С неба свалилась крестом крючковатым беда:
мы не видали хозяев таких на веку –
мерят зерно и на граммы считают муку.

Нива – твоя, лишь покуда стоит зелена,
твой – виноградник, но ты не увидишь вина,
если в распадке поставишь силок на зайчат –
завтра соседи, глядишь, на тебя настучат.

Сливы созреют – первач для хозяев, учти;
семя твое не должно прорасти во плоти.
Жизнь, говорят они, только дается взаимы.
Ну, да об этом еще побеседуем мы.

Люди, молитесь о том, чтобы сгнуло зло,
чтобы его ураганом навеки смело;
чистите ружья и косы точите пока –
пейте, да только оставьте и мне полглотка.

1942

О ДОЖДЕ ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ НОЧИ

Подобный дождь бывае[]иш[]огда
нисходят сумерки на города,
и, тяжело разверзаясь, небосвод
земле избыток влаги отдает.

Ни чистоты, ни свежести в дожде,
он только черноту плодит везде,
с листка на лист, с карниза на карниз,
как сажа, как чернила, льется вниз.

И посреди наставшей темноты
вдоль улиц распускаются зонты,
немедля поднят каждый воротник:
над всей землею ливень в этот миг.

Камины гаснут: все дрова в дыму.
Протяжным шумом наполняет тьму
британский дождь холодный, проливной
над каждым городом, над всей страной.

1941
Лондон

НА СТАНЦИИ ПОДЗЕМКИ

Как же спят устало,
как же спят устало,
кажется, при всех своих вещах,
сотни исхудалы[]
в старых одеялах,
в пыльниках и трепаных плащах.

Шорох монотонный
вентиляционный,
лампочк[]тусклее, чем всегда,
светят еле-еле;
и, спеша в туннели,
не тревожат спящих поезда.

Как же стал им дорог
свет родных каморок,
прежние, безоблачные дни;
вижу их, на мата[]
тяжким сном объятых:
как печальны, как бедны они!

Как же спят устало,
как же спят устало
люди здесь в военную грозу, –
бомбами распорот
их злосчастный город,
и спокойно только здесь, внизу.

Но уйти рисковую
в темень городскую, –
пусть сирены вой еще не стих:
там, борясь со страхом,
я умоюсь прахом,
будь что будет – я один из них.

1941

О НЕБЕ ЛОНДОНА

Островок синевы неустойчивой, где
растворяется день, словно сода в воде,
он темнеет чернильно и скоро с высот
на гремучие кровли мочиться начнет:
это Лондона низкое небо.

Средь газонов надменно торчат цветники,
и туман в переулки течет от реки,
и автобусы туго набиты людьми, –
надо всем, только голову вверх подними,
виснет Лондона низкое небо.

Эскалатор наружу выносит меня
из подземки в конце неудачного дня:
обещаньями босса я сыт позарез,
я спешу под сырой закопченный навес –
это Лондона низкое небо.

Если солнечный ветер подул бы с полей –
мне бы стало, пожалуй, еще тяжелей,
так что ты уж мочись на меня без стыда,
без тебя я девался б на свете куда,
ты, о Лондона низкое небо!..

1942

КАЮЩАЯСЯ ДЕВУШКА

Как мой парень получил повестку
и в мешок пожитки увязал,
мы пошли к ольшаному подлеску
и гораздо позже – на вокзал.
Пели птицы, – ты припомни, милый,
как шуршали мак и резеда;
жалко, друг мой: надо было силой,
по-простому взять меня тогда.

Ты служил стрелком на самолете,
да и мне пришлось пойти в цеха;
за день изведешься на работе,
ну, а вечер – как тут без греха!
И пойдешь с каким-нибудь верзилой, –
не умею вспомнить без стыда;
жалко, друг мой: надо было силой,
по-простому взять меня тогда.

Завтра станешь ты моим навеки,
что ж, дружок, такие вот дела:
с кем и жить, как не со мной, калеке,
раз огонь и воду я прошла.
Поплетутся чередой унылой
безо всякой резеды года, –
жалко, друг мой: надо было силой,
по-простому взять меня тогда.

1942

ИЗГНАН ИЗ АВСТРИИ

Гвоздика день-другой жива,
пока в стакане вянет.
Свежа на дереве листва,
но скоро жухлой станет.
Уже три раза таял снег, –
как странно доживать свой век
не на родной земле.

Еще желтей желтофиоль
цветет в соленой влаге,
в ответ на слезы и на боль
спешит строка к бумаге.
Корней лишенный, я живу,
чтоб и во сне, и наяву
петь о родной земле.

О сердце, в грохоте годов
тебе не биться долго:
тебя я вырвать прочь готов
по настоянию долга.
Но миг еще в груди побудь:
знаком ли хоть кому-нибудь
я на родной земле?

1942

НАШИМ МЕРТВЫМ

Вы же, кто положили жизнь свою,
вы же, кто пали в праведном бою,
кто навсегда лишен и уст, и глаз, –
вы, мертвые, вы с нами каждый час.

Вы ввергнуты в пучину страшной тьмы
и говорить о вас не смеем мы,
вы вспыхнули, как факел нефтяной,
чтоб вас узнали мы в дали ночной.

Шагать к победе – слишком тяжело,
ликует безнаказанное зло,
однако от чудовищных огней
горящей плоти запах всё слышней.

Сведенная навеки на корню,
толпа убийц такому же огню
быть беспощадно выдана должна
во имя жизни, хлеба и вина.

Наперекор жестоким временам
беззвучным криком вы кричите нам,
зияниями выколотых глаз –
вы, мертвые, вы с нами каждый час.

*1942
Лондон*

*Из сборника
«Вена 1938 / Зеленые кадры»
(1946)*

* * *

Мне ничего не сделали пока:
в газетах обо мне давно ни слова,
зато и мать не гонят из-под крова.
Мне ничего не сделали пока.


Я радуюсь улыбке мясника,
платя за ветчину для бутерброда;
загвоздка лишь с источником дохода.
Мне ничего не сделали пока.

Я даже вправе погулять слегка,
пройтись пешком, довериться трамваю:
на что же я, однако, уповаю?
Мне ничего не сделали пока.

Ни документов нет, ни тайника,
я не могу ни выбраться отсюда,
ни, сидя здесь, надеяться на чудо.
Мне ничего не сделали пока.

1938

* * *

Кто в нашу дверь звонит чуть свет?
Тревога – не всерьез 
и для нее причины нет:
мальчишка хлеб занес.

Кто в нашу дверь звонит чуть свет?
Не к нам на этот раз,
но в дворницкой какой-то тип
расспрашивал про нас.


Кто в нашу дверь звонит чуть свет?
Кончай сходить с ума:
ну, почтальон, ну что с того,
что нет пока письма.

Кто в нашу дверь звонит чуть свет?
Неважные дела:
отсюда съехать мы должны
до первого числа.

Кто в нашу дверь звонит чуть свет?
Не плачь любой ценой,
подай мне узелок с бельем –
они пришли за мной.

1938

* * *

В бор соседний я один ушел вче 
как тепла была трава и как сыра,
ветер пел мне, ветер в зелень пеленал, –
здесь никто меня не видел и не знал.

Взмыл стеклянный шар луны сквозь звездопад,
в ломких травах зазвучал оркестр цикад,
и концерт его старинный стоил мне
ровно столько, сколько ветер в вышине.

Так стоял я и следил, как яркий след
по дороге прочертил мотоциклет,
от всего, что в жизни станет со мной,
отсечен блаженной лиственной стеной.

Лебедь плыл за Андромедой, как ладья,
по кустарникам бежал в ознобе я,
и во мне, высвобождаясь из оков,
трепетало сердце канувших веков.

1938

НА ПЕРЕЛОМЕ


Распался мир, и все свои тетради
горящему я отдал очагу, –
но вновь, привычки ежедневной ради,
пишу и по-другому не могу.

Мне ль, хворому, тогда, на самом деле,
мечтать о переходе рубежа, –
я тратил в колебаниях недели,
всё более от ужаса дрожа;

был страшен путь подошвам воспаленным,
но жребий мне нежданно пал такой,
что я друзьями скрыт в доме зеленом
и незаслуженно обрел покой.

И снова, словно подчиняясь порче,
к бумаге голова наклонена:
я чутче стал, однако же не зорче,
пока что даль передо мной – темна.

Я планов на грядущее не строю,
как будто расщепилось бытие, –
меня спасли друзья, но мне порою
чудовищно спасение мое.

Сквозь тишину судьба диктует властно,
и выбора передо мною нет:
был слаб или си  я – станет ясно
в чужой стране и через много лет.

1938

* * *

Ты всё цветешь ли, деревцо,
там, где трамвайное кольцо?
А то прошел всего-то год,
и жизнь пошла наоборот.
Но ты цветешь, цветешь, как встарь.

Ты зеленеешь ли, газон?
Мне лезть из дома не резон,
у первого же кабачка
я попадусь наверняка.
Но ты все зелен, будто встарь.

Ты созреваешь ли, пивко?
Как день вчерашний далеко!
Тогда бы хлопоты начать –
была бы в паспорте печать.
Ты, пиво, зреешь, будто встарь.

Газон, пивцо да деревцо, –
в слезах, увы, мое лицо,
затем что в этот горький час
одних я оставляю вас
зреть, зеленеть, цвести, как встарь.

1938

* * *

Те, что меньше родину любили,
шли да и сдавались напрямиком
или в землях расселялись прочих;
я от пепелищ отсечься отчих
вынужден своим же тесаком.

Не проспал я ночи ни единой,
выгорел в бессоннице дотла, –
дни слагались в многие недели,
в слабом теле силы оскудели
и по капле в землю кровь ушла.

Но обязан я уйти отсюда,
чтоб душа не сделалась мертва,
чтобы только выжить на чужбине,
повторяя те же, что и ныне,
тихие и точные слова.

Только слову сохраняя верность,
с родиною связь перерубя,
лишь затем судьбу теперь приемлю,
что пересадить в чужую землю
должен, словно саженец, себя.

1938

* * *

Я дома целый день, но я уже не здесь;
что написал – при мне, таков багаж мой весь;
на книжных полках пыль – не дом, а конура;
постель, в которой сплю, освободить пора.

Мне надо бы уйти – не знаю, есть ли толк,
однако свой уход осознаю как долг;
я сочиняю роль, я сам себе суфлер,
однако глух мой слух и равнодушен взор.

Давно я ни друзей, ни близких не встречал,
во всем – одни концы и никаких начал;
я нужных слов ищу – да только все не те,
мне кажется, что я подвешен в пустоте.

Ни в будущее нет, ни в прошлое путей,
есть вести лишь о том, что никаких вестей.
Ночует мышь в норе, скворец живет в гнезде...
И только человек способен жить нигде.

1938

* * *

Я сидел в прокуренном шалмане,
где стучали кружки вразнобой.
Хлеба взял, почал вино в стакане
и увидел смерть перед собой.
Здесь приятно позабыть о мире,
но уйти отсюда должен я,
ибо радость выпивки в трактире
не заменит смысла бытия.

Жить, замуравав себя, – жестоко,
ибо кто подаст надежный знак,
не известно ни числа, ни срока,
давят одиночество и мрак.
Радость и жестокость – что желанней?
Горше и нужнее – что из них?
Мера человеческих страданий
превосходит меру сил людских.

Надо чашу выпить без остатка,
до осадка, что лежит на дне,
ибо то, что горько, с тем, что сладко,
непонятно смешано во мне.
Я рожден, чтоб жить на этом свете
и не рваться из его оков,
потому что все мы – Божьи дети
от начала до конца веков.

1938

НАШЕМУ ПРИВРАТНИКУ

Образ твой приходит мне на ум,
вспоминаю с теплотой всё чаще
твой бесменный форменный костюм
и кофейник, в закутке кипящий.
Засорялся душ ли, гас ли свет,
кран ли протекал, полы коробил –
ты умел помочь, подать совет.
Старикан, твой час еще не пробил?

Ты ночами на посту не дрых,
об тебя ломалась вражья лапа:
ты троих, а то и четверых
умудрялся спрятать от гестапо.
Ты салатовал, как палачи,
и штандарт над входом приспособил,
а в потемках нам таскал харчи.
Старикан, твой час еще не пробил?


Знаю твердо – ты не спасовал,
не согнулся ты от горькой чаши.
Под бетонным полом твой подвал
сберегает рукописи наши.
Сына у тебя взяла война,
а кварталный – милости сподобил
и торчит у твоего окна...
Старикан, твой час еще не пробил?

1941

ПЕЧЬ ВОЗЛЕ ЛЮБЛИНА

Дымил крематорий печною трубой
над Люблином, в польской земле.
В товарных вагонах людей на убой
свозили в огромном числе:
чудовищный дым застилал окоем –
их газом травили, сжигали живьем
у Люблина, в польской земле.

Три года крюкастый штандарт проторчал
над Люблином, в польской земле.
Хозяин процент со всего получал –
без пользы пропасть ли золе?
В мешок да под пломбу – и снова в вагон:
подкормкою пепел служить обречен
великой немецкой земле.

Сияет на знамени красном звезда
над Люблином, в польской земле.
Но мало того, что теперь навсегда
погашено пламя в жерле;
позорного чада над миром – с лихвой,
так пусть же заплатит палач головой
за бойню  польской земле!

1944

СЛАВЯНСКОЕ

Ты сегодня дашь нам, господарь, ночлег,
завывает ветер, сыплет крупный снег;
мы оставим ружья, двери – на крючок,
ну, а ты согрешь, братик-сливнячок.

Мы врагов осилим эдак через год.
Господарь, приветствуй будущих господ:
не пойду батрачить, я не дурачок,
ну-ка, подтверди-ка, братик-сливнячок.

Пролило немало крови на веку:
выйти в господари должно гайдуку,
завести овечек, садик, парничок,
кукурузку, дыньку – ну, и сливнячок.

Из страны прогоним бешеных свиней,
доживем, понятно, и до вешних дней,
и такой отколем майский гопачок –
ух, как будет славно, братик-сливнячок!

1945

ВИЗИТ К ПОМЕЩИКУ

Мое почтенье, барин-господин!
Ты слышишь стук окованных дубин?
Ты очень зря запрятал в погреба
стервятника с фашистского герба.

Хозяин, ведь у нас с тобой родство!
Мой дед повесил деда твоего.
В мое лицо взглядишь еще слегка:
ты, барин, узнаешь ли батрака?

Ну, разжирел ты, барин, чистый хряк!
Ты мордовал меня и так, и сяк,
я тюрю ел, ты смаковал пилав, –
но времечко бежит, летит стремглав!

Тащи-ка сливнячок из кладовой!
Стаканчик – мне, а весь осадок – твой.
Тебе вниманье, барин, уделю:
давай-ка шею, полезай в петлю.

1945

МАЙ В ДОБРУДЖЕ

Черна зола пожарищ и сыра,
однако строить новый дом пора;
как ни изрыли землю кабаны –
под осень тут созреют кочаны.

Гляди-ка, уцелел хозяйский дом!
Он строен, чай, не нашим ли трудом
там, на юру, над степью, – посеми,
пожалуй, будет школа в том дому.

Пора заняться саженцами слив.
Да будет мир неслыханно счастлив,
таков, каким вовек не видан встарь:
никто не раб, и каждый господарь.

1945

ПОГИБШИЙ В ЗЕЛАНДИИ

В бескормицу, в самое злое бесхлебье,
не вовремя гибнуть надумал, отец.
Разграбило ферму чужое отребье,
зарезали немцы последних овец.
Плотину взорвали они торопливо,
когда отступали. И невдалеке,
где польдер открылся на время отлива,
твой труп отыскался в соленом песке.


Отец, мы тебя между илистых склонов
тихонько зарыли в предутренний час,
но стопка твоих продуктовых талонов
в наследство еще оставалась у нас:
и чашечку риса, и сыр, и горбушку
делили мы поровну, на три куска, –
мы на ночь стелили тебе раскладушку,
мы дверь запирали на оба замка.

Отец, под кустом бузины у плотины
ты горькую трапезу благослови:
ты жизнь даровал нам в былые години
и, мертвый, даруешь нам крохи любви.
Три вечных свечи мы поставим в соборе,
чтоб люди забыть никогда не могли
о том, как враждебное хлынуло море
в родные пределы зеландской земли.

1945

СТАРАЯ ПАРА В ВЕНСКОМ ЛЕСУ

С тех пор, как бомбы градом с неба валят,
мы приучились вверх смотреть, – и вот
мы вдруг поймем, что синевою залит
безоблачный осенний небосвод.
Мы рухлядь «зимней помощи» наденем –
подачки с оккупантского плеча –
и побродить часок в лесу осеннем
пойдем тихонько, ноги волоча.

Нам сыновья, что под Москвою пали,
писали, что кос ик до поры
им разрешалось ночью, на привале,
поддерживать кусочками коры;
но вздумалось начальственным придирам –
что для солдат уместней темнота, –
лишь тонкий ломтик хлеба с комбижиром
да чай из земляничного листа.

А двое стариков в далекой Вене
ничком ложатся в палую листву,
когда над ними пробегают тени
машин, перечеркнувших синеву;
и, встать не смея с прелого покрова,
мы ждем, когда же кончится налет,
как все, над кем трава взойти готова,
о ком никто не вспомнит через год.

1943

РЕКВИЕМ ОДНОМУ ФАШИСТУ*

Ты был из лучших, знаю, в этом сброде,
и смерть твоя вдвойне печальна мне;
ты радовался солнцу и свободе,
как я, любил шататься по стране.
Мне говорили, ты гнушался лязгом
той зауми, что вызвала войну, –
наперекор велеречивым дрызгам
ты верил только в жизнь, в нее одну.

Зачем ты встал с обманутыми рядом
на безнадежном марше в никуда
и в смерть позорным прошагал парадом?
И вот лежишь, сраженный в день суда.
Убить тебя – едва ли не отрада;
ни у кого из нас терпенья нет
дорогу разьяснить заблудшим стада, –
и я за смерть твою держу ответ.

Пишу, исполнен чувств неизрекомых,
и поминаю нынче ввечеру
тебя медовым запахом черемух
и пением цикады на ветру.
Вовек да не забудется позор твой,
о сгинувший в несправедной борьбе,
ты славе жизни да послужишь мертвый, –
мой бедный брат, я плачу о тебе.

1945

.....
* Стихотворение посвящено памяти Йозефа Вайнхебера (1892–1945), покочившего с собой при вступлении советских войск в Австрию. Его же памяти посвящено стихотворение Альфреда Маргул-Шпербера «Звезда в вине» – таким образом, по меньшей мере два выдающихся немецких поэта, оба – этнические евреи, почтили память Вайнхебера, в последние годы жизни примкнувшего к нацизму.

Из сборника

«Погребок»

(1946)

* * *

Когда вернусь я в мой зеленый дом,
что ждет меня с терпеньем и стыдом,
я там на стол собрать хочу давно
орехи, хлеб и терпкое вино.

Любимая, на трапезу приди
и ту, другую, тоже приведи,
придите все – всё будет прощено,
пусть нас помирят терпкое вино.

И ты приди, кто в чуждой стороне
так дорог нынче оказался мне, –
придите, мне без вас не суждено
разлить по кружкам терпкое вино.

Цветите же, когда придет весна,
акация, каштан и бузина,
ломитесь ветками ко мне в окно
и осыпайтесь в терпкое вино.

Так соберитесь же в моем дому
все те, кто дорог сердцу моему, –
мы будем петь (о чем – не все ль равно?)
в дому, где ждет нас терпкое вино.

1944

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРГЕНЛАНДЦА

1. СЫН БУРГЕНЛАНДЦА

Весь сельдерей повыдерган из грядок,
уложена вся пшенка за варок,
у матери давно везде порядок,
в похлебке тоже третий день жирок.
Туманами подернуты закаты...
Пора уж, батя, и тебе до хаты.

Я жду тебя, – уж я укараулю,
хотя свободной ни минутки нет;
я всю собрал картошку и цибулю,
дрова переколол в поленья дед,
мать на табак не разрешила траты...
Пора уж, батя, и тебе до хаты.

Она козу пасет на дальних кручах,
одна в залог уходит далеко –
там много трав целебных и пахучих;
на кухне выкипает молоко,
и сумерки уж больно длинноваты...
Пора уж, батя, и тебе до хаты.

На помидоры – урожай особый,
и шильхер тоже очень удался,
но сливовицу нашу ты не пробуй,
пусть даже мать пожарит к ней гуся:
в ней порошок, – но мы не виноваты...
Ты, батя, приходи скорей до хаты!

2. ОТЕЦ БУРГЕНЛАНДЦА

Померзла помидорная рассада,
по грядкам видно: на носу зима.
Осенний шильхер выспел то, что надо,
и пшенкою забиты закрома.
Поленницы пусть шатки, да не валки,
на юг убраться птицам невтерпеж...
Когда ж услышу стук дорожной палки,
когда ж, сынок, из города придешь?

Никто меня не кормит до отвала,
и я желудком очень нездоров;
твоя жена мне денег не давала,
наколотых ей вечно мало дров, –
чтоб всё понять, не нужно и смекалки;
а стук часов ночами так похож
на долгожданный стук дорожной палки, –
когда ж, сынок, из города придешь?

Она сама гоняет коз к разлогу
и сына к плавням шлет за тростником,
корсет натянет, выйдет на дорогу
и долго вдаль глядит, как под хмельком;
но сливовицу ты из рук нахалки
не пей, не то подохнешь ни за грош...
Когда ж услышу стук дорожной палки,
когда ж, сынок, из города придешь?

3. ЖЕНА БУРГЕНЛАНДЦА

Посохли флоксы, выспел шильхер славно,
вся кукуруза сложена в сарай,
на грядках нет работы и подавно,
а гуси улетают в южный край;
я сею мак, мне временами худо,
тогда иду под вечер за порог...
Когда ж моя окончится причуда,
когда же ты вернешься, муженек?

Запасец дров твоим отцом наколот,
он вообще-то целый день в дому,
на хвори жалуется и на голод:
не буду резать курицу, ему
назло, – он всё бурчит, бурчит, зануда,
что про меня, мол, всё ему вдомяк...
Когда ж моя окончится причуда,
когда же ты вернешься, муженек?

Коль ты прибавишь малость к тем деньжонкам,
что я с продажи сливок берегу,
то сможем мы разжиться поросенком, –
я мак давно готовлю к пирогу;
а так – узнать кому да и откуда:
не здешний он, тот возчик-паренек...
Когда ж моя окончится причуда,
когда же ты вернешься, муженек?

4. БУРГЕНЛАНДЕЦ ИДЕТ ДОМОЙ

На палке трясется котомка,
дойти б уж домой поскорей.
На лужицах льдистая кромка,
повыдерган весь сельдерей.
И, радуясь каждой примете,
шагаю, маленько спеша:
зарезу козу на подклети,
у плавней возьму камыша.

Папаше несую, старикану,
табак и еще ветчину,
сынишке игрушку достану,
уважу, понятно, жену.
Забудем о прожитом лете,
ужо натомилась душа!
Зарежем козу на подклети,
у плавней возьмем камыша.

Готова ли каша из пшенки?
Довольно ли в печке огня?
Семь месяцев в дальней сторонке
мгновеньем прошли для меня.
Никто ни за что не в ответе,
да можно ли жить, не гре^е
не резать козу на подклети,
у плавней не брать камыша?

1943

ПОГРЕБОК

Субботний зной, не торопясь, отхлынул,
восходят звезды и ласкают глаз.
Кирпичник кружку в горло опрокинул
и за другою тянется сейчас.
Домой плетется стадо; сколько денег
принес – истрать уж всё, да не мусоль:
прогнили доски стенок и ступенек,
но под окном цветет желтофиоль.

Нет росписей на балке потолочной –
оттуда колбаса глядит, с крюка.
Тут зашибает брынзу дух чесночный,
тут красный перец – радость языка.
Сюда идут в любой из деревенок
бобыль, поденщик и другая голь.
Прогнили доски стенок и ступенек,
но под окном цветет желтофиоль.

Еще домой идти, пожалуй, рано,
еще по кружке можно взять вполне.
Летит веселый грохот с кегельбана, –
хочу сыграть, подай-ка шар и мне!
Есть погребок в любой из деревенок,
езде табачный дым вонюч, как смоль, –
прогнили доски стенок и ступенек,
но под окном цветет желтофиоль.

1943

ПЕСНЯ ПОД ОСЕННИМ ДОЖДЕМ

Я песню пою, ибо люди поют
под шуршащим осенним дождем;
стелите солому и прячьтесь в уют
под шуршащим осенним дождем.
Ничто так не горько, не грустно для слуха,
как шорох травы, раздающийся глухо
под шуршащим осенним дождем.

Сидит у камина хозяин в дому
под шуршащим осенним дождем:
тепло в духоте и во мраке ему
под шуршащим осенним дождем.
Он запахом льна перепревшего дышит,
как яблоки падают наземь – он слышит
под шуршащим осенним дождем.

Поденщик, одетый в худое тряпье
под шуршащим осенним дождем,
проспит бесполезное время свое
под шуршащим осенним дождем.
Подмытый водой, словно стебель ничтожный,
глядит в никуда указатель дорожный
под шуршащим осенним дождем.

Смывается лыко, ограда гниет
под шуршащим осенним дождем;
скребутся дворовые псы у ворот
под шуршащим осенним дождем.
Вода не уходит с разбухшего луга,
канавы бурлят и клокочет округа
под шуршащим осенним дождем.

1945

ТРАВНИЦА

Где тропка петляет к ручью за деревней,
где скалы крошатся опокою древней
и держатся в скалах деревья с трудом,
стоит покосившийся травницын дом.

Хвосты сельдерея, фасоль и редиска
еще говорят – человечество близко;
но папорт, хозяйственным планам вразрез,
под окна решительно выдвинул лес –

тот самый, что женщине в рваной одежке
сморчки поставляет весной для кормежки,
до осени – ягоду в горла корчаг
сыпает не скупно, зимою – сушняк

для печки дает приношением щедрым,
покуда метели гуляют по кедром.
Дремучим чащобам и дочь, и сестра,
как зверь, нелюдима и так же мудра,

находит почти что без помощи зренья
заветные зелья, и злые корни,
и то, что лекарство, и то, что еда,
и то, чем врачуется бабья нужда.

Февраль, и доедена пшенка, и смальца
в корчаге осталось едва на полпальца,
но лес, обрядившийся в иней и наст,
согреет, прокормит, в обиду не даст.

1943

ПИВНАЯ

Далеко за деревней, со свалкою старой впритык,
где стервятину наспех привозит зарыть гуртовщик,
где ручей пробирается через коросту дерьма, –
неприметно к подошве горы притулилась корчма.

Кто кислятины местной не брезгает выпить – тому
самый раз завалиться под вечер в такую корчму,
если чертова шнапса желает какой однолюк,
блещет медной змеей самогоноварительный куб.

Ненапойная жажда сюда пригоняет не зря
батрака, углежога, подручного золотаря;
всё растрескано небо, угар от похмелья тяжел, –
пей, покуда не взмокнут мозги и не рухнешь под стол.

Молчаливо садятся они на скамейки рядком;
колбаса – из конины с тухлинкой, зато с чесноком,
если кто припоздаст, тому, для порядка ворча,
наливает корчмарь всё такой же стакан первача.

На стакане втором хоть один да развяжет язык,
тут же песня польется, до слез проберет горемык,
и на третий потянут слова неизбежной тоски,
и, мотив подхватив, застучат по столам тесаки.

1943

ЙОЗЕФА

Там, за деревней, где ряской канавы цветут,
среди золотарников – поля неправильный кут.
Хатка Йозефы за ним, в полминуте ходьбы.
Прямо под дверью лежат на просушке грибы.

Шпанские мушки да всякие зелья у ней,
козочка тоже: Йозефа других не бедней.
Вечером трижды, попробуй, в окно постучи –
дверь приоткроется, звякнут в потемках ключи.

Молча вдовец к ней приходит еще дотемна,
молча – кабатчик, пусть лезет на стенку жена,
молча – барышник с кольцом, только чтоб ни гу-гу,
молча – бирюк-винокур, зашибивший деньгу.

Горькой настойкой она угощает гостей,
есть постоянный запасец домашних сластей,
после – Йозефа постель приготовит свою.
Ежели что – так заварит себе спорынью.

Пышно цветут золотарник, татарник и дрок.
Нет никого, кто Йозефе послал бы упрек.
Дом, и коза, и кусок полевого кута, –
совесть Йозефы пред всеми на свете чиста.

1945

ПЕСНЯ НА ОКРАИНЕ

Испятнан гарью городской
последний ряд лачуг,
и только чахнет день-деньской
за ними жалкий луг.
Как ты отчаянно мила,
тебе так мало лет;
я – городьба, на мне смола;
ты – яблоневого цвет.

Под вечер забрести сюда,
на насыпь лечь вдвоем;
гудят всё время провода
о чем-то о своем.
Брусчатник вечно перегрет,
летит по ветру шлак;
я – словно коксовый брикет,
ты – словно алый мак.

Проходит ночь, полдневный зной
по скупости храня;
курится над любой стеной
горячий воздух дня.
Акациями на юру
овеян наш ночлег;
я – пыль, что прячется в кору,
ты – первый сладкий снег.

1945

КОЛЬ ХОТЬ ОДИН ОТКРЫТ ТРАКТИР

Спешат кабатчики: скорей
задвинуть сталь щеколд;
огонь бессонных фонарей
неумолимо желт.
Ползет из подворотных дыр
тяжелое тепло
коль хоть один открыт трактир
ну, стало быть, свезло.

Пусть циферблату и темно,
у стрелок – свой делёж;
акаций запах сладок, но
горчит, едва вдохнешь.
Ползет со стен отмокший мел
под ноги, как назло;
кто шлюху зацепить суме
тому, считай, свезло.

Шлагбаум фыркает огнем,
край неба – чуть белей;
пыль, та же самая, что днем,
кружится вдоль колеи.
В ночлежку лучше б ни ногой,
да больно тяжело, –
ну, прикорни часок-другой:
тебе, считай, свезло.

1943

КАФЕШКА ПРИ ДОРОГЕ

Зальце заштатной кафешки
возле развилки дорог.
Здесь ни погонки, ни спешки –
смело ступи на порог.
Право, бывает и хуже,
кисло вокруг не смотри.
Двигутся барки снаружи,
трубки дымятся внутри.

Кофе и булочка с тмином,
а за окном – облака
вдаль уплывают с недлинным,
чисто австрийским «пока».
Чужд размышлений тревожных
этот приветливый кров,
правил помимо картежных
и бильярдных шаров.

Тянутся дни как недели,
длятся минуты как дни.
Детка, не думай о деле,
дядя, костыль прислони.
Здесь, у дорожной излуки,
мы коротаем года:
сумрак протянет к нам руки
и уведет в никуда.

1944

ТОСТ НАД ВИНОМ ЭТОГО ГОДА

Орех и персик – дерева;
скамей привычный ряд;
я чую лишь едва-едва,
что мне под пятьдесят.
Вот рюмку луч пронзил мою,
метнулся и погас, –
я пью, хотя, быть может, пью
уже в последний раз.

Пушок, летящий вдоль стерни,
листок, упавший в пруд,
зерно и колос – все они
по-своему поют.
Жучок, ползущий по стеблю,
полей седой окрас;
люблю – и, может быть, люблю
уже в последний раз.

Свет фонарей и плеск волны,
я знаю – ночь пришла,
стоит кольцо вокруг луны,
и звездам нет числа;
но, силу сохранив свою,
как прежде, в этот час
пою – и, может быть, пою
уже в последний раз.

1943

ВЕЧЕР ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

В больнице тихо, полночь на земле.
Да не умру я завтра на столе!
Я буйабеса не поел в Марселе,
я в роще пальм не погулял доселе...
О, пусть я поживу и погрешу!
Мария, исцели меня, прошу!

Листва сошла, узоры на стекле.
Да не умру я завтра на столе!
Я – тот сосуд, в который скорбь людская
сбегается, затем легко стекая
по капле к моему карандашу...
Мария, исцели меня, прошу!

Часы почти не движутся во мгле.
Да не умру я завтра на столе!
Еще в миру так широка дорога,
и не написано еще так много
того, что только я один пишу!..
Мария, исцели меня, прошу!

1944

ШЛЮХА ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ

Дождик осенний начнет моросить еле-еле;
выйду на улицу, отыщу на панели
гостя, уставшего после тяжелого дня,
чтобы поплотше других, победнее меня.

Тихо взберемся в мансарду, под самую кровлю
(за ночь вперед заплачу и ключи приготовлю),
тихо открою скрипучую дверь наверху,
пива поставлю, нарезанный хлеб, требуху.

Крошки смахну со стола, уложу бедолагу,
выключу тусклую лампу, разденусь и лягу.
Буду ласкать его, семя покорно приму, –
пусть он заплачет и пусть полегчает ему.

К сердцу прижму его, словно бы горя и нету,
тихо заснет он, – а утром уйду я до свету,
деньги в конверте оставлю ему на виду...
Похолодало, – наверное, завтра пойду.

1944

СТАРЫЕ РАБОЧИЕ

Старым рабочим в мороз не нужны свитера,
ждут возле фабрик они с полшестого утра,
смотрят, кто прежде гудка проскользнет в проходную,
и не торопятся делать работу дневную.

Старых рабочих в цехах окружает уют,
спешки не любят, казенных вещей не берут,
дружно ругают в столовой фабричной кормежку,
носят с собою из дома горшочек и ложку.

Старым рабочим не в жилу сидеть в кабаке,
лягут на травку, а то соберутся к реке,
смотрят на злаки, на борозды, взрытые плугом,
речи со звездами долго ведут и друг с другом.

Старых рабочих судьба не сгибает в дугу,
но не пытайся найти их на каждом шагу:
меньше на свете была бы, пожалуй, тревога,
если бы их оставалось еще хоть немного.

1943

Из сборника
«Хвала отчаянью»
(1946 / 1972)

* * *

Там, за старым рынком, есть квартал,
что давно меняться перестал:
без толку то лето, то зима
гложут толстостенные дома.

Там одна к одной, как на подбор,
прилепилось множество контор;
звон к вечерне грянет с высоты –
скоро станут улицы пусты.

Лишь старик-привратник со двора
уходить не должен до утра
да трактирщик ночи напролет
свой заветный погреб стережет.

И, рукой хозяйкиной блюдом,
пробуждается веселый дом,
чтобы гость захожий мог всегда
наверстать пропавшие года.

1946

* * *

Заезжий двор, клетушки,
заглохший палисад;
чуть утро – запах стружки
всплывает невпопад.
Стучат тарелки где-то.
До жалости мала,
скользит заплатка света
вдоль шаткого стола.

Уже слегка привянув
и подвернув края,
висят листья каштанов;
замшавела скамья;
под буком темнокорым,
прозрачна и светла,
смесь пыли с мелким сором
слетает со стола.

Объемлясь дремой тяжкой,
сучает палисад,
спят и сверчок, и чашка,
и дикий виноград;
затишье, полдень, лето,
от зноя тяжела,
скользит заплатка света
вдоль шаткого стола.

1946

ЗАТЯНУВШИЙСЯ РАЗВОД

Я все еще вижу твою доброту,
как что напишу, так тебе и прочту –
но ты промолчишь, вот какая беда:
любовь хоть была, да сплыла, – а куда?

Почти неизменным осталось житье, –
ты штопаешь мне вечерами белье,
чтоб мне в бардаке не сгорать со стыда:
любовь хоть была, да сплыла, – а куда?

Хоть нет ничего между нами сейчас,
опять-таки ты залетела на раз;
но ты не волнуйся, аборт – ерунда;
любовь хоть была, да сплыла, – а куда?

И даже бывает, всему вопреки:
со мной засмеешься, коснешься руки –
однако и это пройдет без следа;
любовь хоть была, да сплыла, – а куда?

1945

СТАРАЯ ВДОВА

И вот уж год, как умер мой старик:
он под конец совсем вставать отвык;
всё не хотел простыть на холоду
и строго запретил солить еду.

Он по нужде ночами не шумит,
салфетки дольше сохраняют вид,
а то ведь прежде не было житья
от курева его и от бритья.

Теперь на всё хватает денег мне,
почти не нужно думать остряпне,
сготовлю наскоро, чего могу,
и не вожусь с проклятыми рагу.

Куда хочу, задвинула сундук,
не досаждают мне никто вокруг,
открыты настежь и окно, и дверь,
и спать могу хоть целый день теперь.

Лишь вечером ломается уют:
часы уж как-то слишком громко бьют,
не держат ноги, – слабость такова,
что кружится всё время голова.

Всего одно кольцо на поставце,
и я стою в капоте и в чепце,
и злости больше не на ком сорвать:
пуста моя широкая кровать.

1942

ГОСПОДСКАЯ СТЯПУХА В БОГАДЕЛЬНЕ

Листва уже красна и золота;
я знаю, заждалась меня плита,
к господской кухне тянется душа,
где есть чабрец, укроп и черемша.

Уже вполне готовы для стола
фазаны, дупеля, перепела,
и оленине место есть в меню,
и мне ль не знать осеннюю стяпню.

Все, чем богат кончающийся год,
поместье утешало в час невзгод;
и пусть я не скопила ни гроша,
но жизнь была тепла и хороша.

Все в дело шло, за столько долгих лет
никто не похулил моих котлет,
за пряный сок хвалили каждый раз.
Да только здесь, где я живу сейчас,

двенадцать коек в комнате одной,
гуляш не прожуеть, и суп дурной,
уйти б туда, где я сыта была
объедками с господского стола.

1943

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ КОММИВОЯЖЕРА

Как нудно в гостинице время течет,
когда ты закончишь дела;
в постели скропаешь письмо и отчет,
конфорку зажжешь для тепла.
Альбом образцов, что не нужен уже,
без проку лежит в остальном багаже,
будильник глядит со стола.

Расческу прочистишь, закажешь обед –
бифштекс на подошву похож;
от скверной еды, от дурных сигарет
вернуться домой невтерпеж.
Неделя прошла, но бессмыслен досуг,
хоть в парке немало возможных подруг
и вечер куда как хорош.

Пустые скамьи зазывают во тьму,
доносится смех из аллей, –
но вечером – в поезд, ничто ни к чему,
возьми да с тоски околей.
Заулки пропитаны гарью спиртной,
куда же ты денешь свой день выходной
при тусклых лучах фонарей?

1942

ПРИВОКЗАЛЬНОЕ КАФЕ

Ежели ты капиталец собьешь небольшой,
знаешь, поженимся, – и с дороною душой
вместе оформим расчет, месяцок отдохнем,
снимем кафе у вокзала, устроимся в нем.

Будет открыта всё время наружная дверь,
вряд ли кто дважды зайдет между тем, уж поверь.
Я – за хозяина, ты – при буфете, Мари;
кофе, гляди, экономь да послабже вари.

Сервировать побыстрее – это важный момент;
в спешке любые помои сглотает клиент,
если сидит на иголках, торопится он
и по свистку на перрон выметается вон.


Фарш – третьеднёвочный, с булок – вернейший доход,
черствых тринадцать на дюжину пекарь дает;
елкое масло – дохода другая статья;
твердую прибыль тебе гарантирую я.


В зеркало гляну – сесть начинают виски;
груди дряблеют твои, – но пожить по-людски
хоть напоследок мне хочется, так что смотри,
ты уж копи поприлежней, старайся, Мари.

1945

МОЛИТВА РЫНОЧНОГО ГРУЗЧИКА

Мария, если разобьет
меня однажды паралич,
пускай не говорит народ,
что, мол, отбежал старый хрыч.
И чтоб со мной еще пока
здоровался напарник мой,
и чтоб жена из кабака
не волокла меня домой.

Чтоб я в харчевне, не стыдясь,
сидел и нюхал заодно,
как жарится на кухне язь,
чтоб мне фартило в домино;
чтоб мог я сделать щедрый жес 
и бросить грош-другой шпане, –
а если каша надоест,
чтоб на гуляш хватало мне.

Но если буду я одет
в женой топанный пиджак
и целый час плестись в клозет
придется с палкой кое-как,
то это ли цена за пот,
что хуже, чем такой недуг?
Уж если хворь меня найдет,
пусть разом скрутит – и каюк.

1945

В БОЛЬНИЧНОМ САДУ



Куст у чугунных больничных ворот
позднего полон огня.
Я безнадежен, но доктор солжет,
чтоб успокоить меня.
Впрочем, врачи сотворили добро,
не колебались, увы,
опухоль снова впихнули в нутро,
ровно заштопали швы.

Цвел бы да цвел бы подсолнух и мак,
длилась бы теплая тишь.
Как прилетел ты, воробышек, так,
милый, назад улетишь.
Сроки исполнятся – канешь во тьму.
Грустно тебе, тяжело.
Глуп человек: неизвестно к чему
рвется, а время – ушло.

Счастье, которое в мире цветет,
видит ли тот, кто здоров?
Очень коричнев гераневый плод,
тиссовый – очень багров.
Вижу, как кружатся краски земли
в солнце, в дожде, на ветру,
вижу курающийся город вдали:
в этом году я умру.

1944

ПРОЩАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ

Уже давно совсем темн 
почти что пуст шинок;
клиент почти допил вин 
и вовсе одинок;
пьянчуга улизнуть решит
под шарканье метлы,
когда хозяин поспешит
перевернуть столы.


Вспотевшим за день господам
уже не до затей;
никем не снятые мадам
уже не ждут гостей;
и в горле высохшем першит,
и все невеселы,
и грустно, что шинкарь спешит
перевернуть столы.

И вот, печальный мой собрат,
я чувствую нутром,
что я сегодня был бы рад
побыть святым Петром.
Я долго угощал бы вас,
и не спешил отнюдь,
боясь, что кто-то даст приказ
столы перевернуть.

1945

НОЧНОЕ КАФЕ

Стучит рояль в кафе ночном
который час подряд.
Цветы бумажные кругом,
и блюдечки блестят.
За ширмами полутемно,
свет сумрачен и слеп.
Тапер тоскливо пьет вино,
хоть денег нет на хлеб.

Мерцает никель здесь и там;
за столиком втроем
сидят дежурные мада 
и пудрятся тайком,
и губы мажут заодно,
и вид их так нелеп –
мадам пока сосут вино,
а денег нет на хлеб.

В кафе полно свободных мест;
случайный гость зашел:
он, чавкая, печенье ест,
кроша его на стол, –
боль в голове уже давно
молотит, будто цеп...
Он тянет лишнее вино,
хоть денег нет на хлеб.

1943

ПОЗДНЯЯ ПЕСНЬ

Тропки осенние в росах,
клонится год к забытью,
глажу иззубренный посох,
поздною песню пою;
знаю, что всеми покинут,
так что в собратья беру
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.

Сорваны все оболочки,
горьких утрат не сочту;
там, где кончаются строчки,
вижу одну пустоту.
Ибо истают и сгинут –
лишь доиграю игру –
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.

Родиной сброшен со счета,
в чуждом забытый краю,
всё же пою для чего-то,
всё же кому-то пою:
знаю, меня не отринут,
знаю, послужат добру
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.

1945

* * *

Осенние ветры уныло
вздыхают, по сучьям хлеща,
крошатся плоды чернобыла,
взметаются споры хвоща,
вращает затылком подсолнух
в тяжелых налетах росы,
и воздух разносит на волнах
последнюю песню косы.

Дрозды среди желтеющих листьев
салятся на гроздья рябин,
в проломах дорогу расчистив,
ползут сорняки из лощин,
молочную пеной туманов
до края долина полна,
в просторы воздушные канув,
от кленов летят семена.

Трещат пересохшие стручья,
каштан осыпает плоды,
дрожит шелковинка паучья
над лужей стоялой воды,
и в поле пустом и просторном,
в приливе осенней тоски,
взрываются облачком черным
набухшие дождевики.

1945

КУЗНЕЧИКУ

Кроха-кузнечик, о чем на меже
стрекот разносится твой?
Не о подруге ли той, что уже
встретить не чаешь живой?
Небо висит, как стеклянный колпак,
ужас и тьма в вышине, –
тайну открой: не от страха ли так
громко стрекочешь в стерне?

Кроха-кузнечик, как жизнь коротка!
Видишь, пожухли ростки,
видишь, дрожать начинает рука,
видишь, седеют виски.
Душу напевом своим не трави!
Видимо, сроки пришли:
о, погрузиться бы в лоно любви
или же в лоно земли.

Кроха-кузнечик, среди тишины
не умолкай, стрекочи,
небо и зной на двоих нам даны
в этой огромной ночи.
Полон особенной прелести мрак,
сладко брести по жнивью.
Может, услышит хоть кто-нибудь, как
я напоследок пою.

1945

* * *

Сколько жить еще – Бог весть,
но, похоже, очень мало.
То ли мне совсем не есть,
то ль налечь на мед и сало?
В кабаках ли дотемна
рассуждать о катастрофе
иль совсем не пить вина
и забыть про черный кофе?



Взяться ль за науки впредь,
настроением воспрянув,
иль в норе своей сидеть
и не строить больше планов?
Сжечь ли мне, покуда жив,
всю стопу моих тетрадок
или же начать архив
спешно приводить в порядок?

То ль не рваться никуда?
То ль поездить напоследок?
На вопросы – вот беда –
я гляжу то так, то эдак.
И меня бросает в дрожь:
только примешься за дело,
только, кажется, начнешь –
а уже, глядишь, стемнело.

1945

О ЧЕРНОМ ВИНЕ

Ты – пот, что катится со лба,
твои пары густы.
Тебя не свозят в погреба,
не бродишь в бочках ты.
Отрада нищих горемык,
но им в тебе дано
найти забвенья краткий миг,
ты, черное вино.


Кто раз глотнул тебя в бреду –
уже чужак в миру:
ему – пылать на холоде 
и замерзнуть в жару,
и горько всхлипывать, любя:
уж так заведено
для всех, кто раз испил те 
ты, черное вино.

С тобой сдружившись, ни о чем
не думать мог бы я,
но знаю – бьет в тебе ключом
избыток бытия.
Я боя не веду с судьбой,
я осознал давно:
я счастлив тем, что пьян тобой,
ты, черное вино.

1943

* * *

И ржавые бороздки
ограды цветника,
и катышки известки
в сетях у паука,
и клен, что крону клонит, –
я в мире всё хвалю.
Лишь вихрь листву погонит –
я сразу во хмелю.

Я в мокром каземате
не прокляну судьбу,
 каменной кровати
и в цинковом гробу,
мне все предметы служат,
и я любой люблю,
коль вихрь листву закружит –
я сразу во хмелю.

Сухой листок на жниве,
земли комок сырой,
я только тем и живе,
что вижу вас порой;
опять язык трепещет,
губами шевелю:
коль вихрь по листьям хлещет –
я сразу во хмелю.

1944

* * *

Как я счастлив, что любовь ушла,
что никто не влез в мои дела;
счастлив, что не нужен никому,
дымом от костра лечу во тьму.

Как я счастлив тем, что я таков,
что плевать хотел на дураков;
счастлив я, скажу начистоту,
тем, что то в ознобе, то в поту.

Как я счастлив тем, что похудел
и не стал роптать на свой удел;
счастлив, что ни другу, ни врагу
не сумею того, что я смогу.

Словно рыба, что живет у дна,
только по течению плыть должна,
я плыву, и счастлив я вполне
тем, что сердце разрывает мне.

1942

ДЕВЯНОСТОСЕМИЛЕТНЕМУ

Тебе осталось очень мало дней,
притом нелегких, что всего грустней;
ты не попросишь красного вина,
бокала не рискнешь допить до дна.

Тебе осталось очень мало дней,
быть одному теперь тебе честней;
тебе давно подружка не нужна,
ведь ты уверен: будет неверна.

Тебе осталось очень мало дней,
ты бросил книгу и молчишь о ней,
считаешь – ни к чему еще одна;
тебе чужими стали письма.

Тебе осталось очень мало дней,
при этом каждый – вечности длинней;
и разум пуст, и в сердце тишина,
увы, прошли былые времена.

1943

* * *

Как мне жаль, что отцветает рапс,
что до слез не прошибает шнапс,
как мне жаль, что нынче лунный серп
всё вернее сходит на ущерб;

как мне жаль, что старый посох мой
позаброшен летом и зимой,
что крушины белопенный цвет
не рванет мне сердце напослед.

Как мне жаль, что час настал такой,
как мне жаль, что близится покой,
как мне жаль, что скоро в тишине
не услышу я, как больно мне.

1944

* * *

Любовницы, те, что лежали со мной,
ушли и пропали в пучине ночной,
ушли в никуда, потонули в тени,
но так и остались со мною они.

Была из них первая – юный бутон,
вторая – прекрасней Венер и Мадонн,
я первой не понял, не понял второй,
я видел их только ночью порой.

А третья и вовсе была без затей,
четвертая – шлюхой до мозга костей, –
ушли они прочь, как уходят года,
и только тенями приходят сюда.

Лежу, бормочу то строку, то строфу,
дыша тяжело и вцепившись в софу,
и всех этих женщин беру я в полет
в ту ночь, за которой рассвет не придет.

1946

О БАРАБАНАХ

Одной обечайки, да двух лоскутов,
да палочек – хватит вполне,
чтоб был барабан немудреный готов,
а с ним – и конец тишине:
затми же рассудок и дух опали,
и пламени кровь уподобь,
раскатом глухим то вблизи, то вдали
бурли, барабанная дробь!


С восторгом, заслышав побудку твою,
выходят в атаку полки,
солдаты живе́й маршируют в строю,
дружней примыкают штыки.
И в джунглях гремит негритянский тамтам,
взрывая ночную жару,
за духами злыми гонясь по пятам,
сородичей клича к костру.

Так дождь барабанит впотьмах по стеклу
и листья с размаху разит,
так пальцами некто стучит по столу
и гибелью миру грозит, –
гремит барабан, ежечасно знобя
того, кто в бездумном пылу
в Ничто увлекает других и себя,
твердя барабанам хвалу.

1945

ХВАЛА ОТЧАЯНЬЮ

Отчаянье, остаток
надежды бедняка!
Миг промедленья краток,
а цель – недалеко:
негоже обессилеть,
не довершив труда:
веревку взять, намылить
и прянуть в никуда.

Ты – всех недоверней
среди образов земли:
ты носишь имя зерни,
ножа, вина, петли, –
страданий вереница,
соблазнов череда 
ты – сумрачный возница,
везущий в никуда.

Кто пал в твои объятья –
уже не одинок.
Тебя в себе утрать я –
я б дольше жить не смог.
Побудь со мной до срока,
дай добрести туда,
где встану я пред око
Последнего Суда.

1945

КОНЕЦ ЛЕТА

По стеклам ливень барабанит,
последний флокс отцвел в саду.
Я все еще бываю занят –
пишу, работаю и жду.
Пусть кровь порядком поостыла,
пусть немощей не перечес[т]
благодарю за все, что было,
благодарю за все, что есть.

До щепки вымокла округа;
пусты скамейки; вдалеке
под рваным тентом спит пьянчуга,
девчушка возится в песке.
Переживаю виновато –
а в чем виновен я – Бог весть –
и тот потоп, что был когда-то,
и тот потоп, что ныне есть.

По стеклам ливень барабани[т]
внахлест, настырный и тугой;
но прежде, чем меня не станет,
я сочиню стишок-другой.
Хоть жизнь меня не обделила,
но не успела надоесть:
благодарю за все, что было,
благодарю за все, что есть.

1945

* * *

Насущное дело: хоч[у] не хочу –
пора показаться зубному врачу:
пускай бормашина с жужжанием грозным
пройдется по дуплам моим кариозным;
хотя пациент и в холодном поту –
зато чистота и порядок во рту.

Насущное дело: хоч[у] не хочу –
дойти до портного часок улучу:
на брюках потертых не держатся складки,
опять же и старый пиджак не в порядке:
недешево, да и с примеркой возня –
зато же и будет костюм у меня.

Насущное дело: хоч[у] не хочу –
над письмами вечер-другой проторчу;
какое – в охотку, какое – не в жилу,
однако ответ[ы] все через силу,
утешу, кого и насколько смогу:
приятно – нигде не остаться в долгу.

Насущное дело: хоч[у] не хочу –
но годы загасят меня, как свечу,
порядок вещей, неуместна досада,
еще по обычаю разве что надо
поплакаться: доктор, мол, больно, беда –
и сердце счастливо замрет навсегда.

1943

* * *


Мои постели, вспомнить вас пора,
вы мне служили с ночи до утра;
к примеру, та, где довелось впервой
лежать поверх перины пуховой;

к примеру, та, где некогда часок
соснул поверх неструганных досок;
та, что в больнице, тело леденя,
надолго миром стала для меня;

та, где любовью занимался я,
стремительно плывущая ладья
к постели, к той, что в чуждой стране
четыре стенки обеспечит мне.

1945

О ХВАСТОВСТВЕ

Видишь, хозяин уменьшил над стойкою свет.
Если за выпивкой гости сидят тет-а-тет,
глянет один на другого, похвалит его,
стопку ему поднесет  начнет хвастовство.

Он не особенно много при этом наврет,
можно его монолог прописать наперед:
все, что ему удалось, попадет под табу,
нет, он подробно расскажет про злую судьбу.

Хвастаться будет, твердя о пропавших годах,
хвастаться будет, твердя о неправых судах,
хвастаться будет, твердя о погибшей любви,
хвастаться всем, что болит, своему визави.

Мы беззащитны, нагие стоим на ветру,
мы и самим-то себе не всегда ко двору,
может в любую минуту порваться струна,
может в любую минуту нагряться война.

Хвастаться можно, чтоб стало на сердце тепло,
чтоб от него ненадолго отпрянуло зло.
Видишь – стаканы дрожат средь густеющей мглы:
это хозяин уже опрокинул столы.

1944

О ГОРЕЧИ

Когда вино лакается беспроко,
ни горла, ни души не горяча,
и ты устал, и утро недалеко,
тогда спасает склянка тирлича.
В нем горечи пронзительная злоба,
он оживляет, ибо ядовит:
пусть к сладости уже оглохло,
однако горечь все еще горчит.

Когда, на женщин глядя, ты не в дух,
и не настроен искушать судьбу,
переночуй у распоследней шлюхи,
накрашенной, как мумия в гробу.
К утру подохнуть впору от озноба,
и от клопов – хоть зареви навзрыд:
пусть к сладости уже оглохло,
однако горечь все еще горчит.

Когда перед природой ты бессилен,
и путь лежит в безвестье и туман,
под вечер забреди в квартал дубилен
и загляни в загаженный шалман.
Обсиженная мухами трущоба,
зловоние и нищий реквизит:
пусть к сладости уже оглохло,
однако горечь все еще горчит.

1943

О ПРЕБЫВАНИИ ОДИН НА ОДИН

С каждым однажды такое случается: вдруг
вещи как вещи внезапно исчезнут вокруг.
Выпав из времени, все позабыв, как во сне,
ты застываешь мгновением наедине.

Наедине с перелеском, с тропинкой косою,
с житом и куколем, сеном и старой косою,
с грубой щетиной стерни, пожелтевшей в жару,
с пылью, клубящейся на придорожном ветру.

С волосом конским, что прет из обивки, шурша,
с пьяницей, что до полочки засел без гроша,
с водкой в трактире, едва только шкалик почат,
с пепельницей, из которой окурки торчат.

К злу и добру в равной мере становишься глух,
ты – и волнующий шум, и внимающий слух.
Пусть через годы, но это придет из глубин:
знай же тогда – ты со мною один на один.

1946

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ ПЕРЕД УХОДОМ

Нам по плечу была в путь
не всякая беда;
легко могли перенести
не все и не всегда.
Налей вина и успокой
тревожные умы;
неполным станет род людской,
когда исчезнем мы.

Мы ждали, что настанет час,
и честно крест несли;
казалось нам – в руках у нас
два полюса Земли.
Налей вина и успокой
тревожные умы;
слабее станет род людской,
когда исчезнем мы.

Хоть поутру, хоть ввечеру
для нас погаснет свет,
но хоть какой-то, а в миру
мы оставляем след.
Налей вина и успокой
тревожные умы;
освободится род людской,
когда исчезнем мы.

1943

ЧУМА

I

Под черными полотнищам
арки
томятся без команды на борту.
Белеет форт, сияет полдень жаркий,
нечистый дым уходит в высоту.

Тарантулы взамен плодов на сучьях
смоковниц изнывают от жары,
трещат цикады среди кустов колючих
угрюмо ржут понурые одры.

Сидит ресниц лишённая неясить,
глядит на мертвый город свысока,
и так легко бубонам опоясать
нагую грудь чумного бедняка.

II

Звонят колокола, гудит больница,
гнилая хворь стущает духоту.
Болящий люд на лестницах теснится,
где Смерть с косою застыла на посту.

Чума в морщинах прячется в затишек,
где мрак и сырость хуже, чем в аду,
и где торчат бубоны из подмышек
у женщин, умирающих в бреду.

Жжет ладан служка, в суеверном страхе
гоня заразу от больничных врат,
больным выносят теплый хлеб монахи,
в расставленные миски льют обрат.

III

Дворы пустые заросли пасленом,
уже никто и не идет к врачу.
Хворающие к язвам воспаленным
прикладывают жаб и пьют мочу.

Друг друга сыну и отцу не жалко,
священники – и те полумертвы,
ни хора больше нет, ни катафалка,
безумцы лечь спешат в чумные рвы.

Уста юнцов черны от териака,
они бегут в венках из тубероз,
спасаясь от разверзшегося мрака.
Дома пусты, и все идет вразнос.

IV

Поднявши капюшоны на затылки,
по улицам шагают сторожа.
Целебный кориандр чадит в коптилке,
в зеленом свете фонарей дрожа.

Кидают камни в окна; есть причина:
найти того, в ком теплится душа.
Вот перед ними жертва: старичина
сидит, в камине пепел вороша.

Его прикончив, ищут цель другую,
бредут сквозь темноту по-воровски,
и, девушку схватив, ей в грудь нагую
клопные вонзают хоботки.

V


Монахиня с безумием во взорах
ждет вечера, забывши все стыды,
ее томят бубоны, на которых
от шпанских мушек ясные следы.


Когда стукнется тьма над небосклоном,
придет любовник юный в третий раз,
чтоб овладеть ее душистым лоном,
надолго погрузить ее в экстаз.

И, расточая хладное сиянье,
прошепчет он у страсти на краю:
«Дарит чума заветное слиянье
намного раньше, нежели в раю».


VI


Бичевщики проходят стадом серым,
прикованным к молитвам и бичам;
отрадно извиваться изуверам,
хлестать бичом по собственным плечам.

Юрод вздымает руки к небосводу 
и молит, вырываясь толпы,
чтоб дал Господь прощенье народу,
коль обманули сей народ попы;

 чит: «Пребудьте в пляске неустанны,
Святому Виту слава и почет!
Пусть под бичом осыплются каштаны,
Всевышний их с любовью испечет».

VII



Колосьям жатва даже и не снится 
поля застыли в духоте гнилой.
Бредет по тропке сельская юница
прочь от гусей к твердыне над скалой.


Нетопыри пищат, и ночь тлетворна,
зеркальный зал торжественно высок.
Она лушит гранатовые зёрна 
для трапезы готова алый сок.

Она хозяйкой в доме станет вскоре,
владычицей полей и крепостей.
Она кружится в свадебном уборе
и горько плачет, ибо нет гостей.

VIII

Об отошедших в лучший мир монахах
радел могильный инок, сколько мог.
Вот-вот услышит он зловещий запах
и сам себя внесет в мартиролог.


От синагоги дым на три квартала,
расплата с теми, кто призвал чуму.
Старик берет пергамен  и устало
рисует бесов, сныща  ему.

Плащи, отрепья, шлемы и плюмажи
в одну и ту же цепь вовлечены.
Для всех звенит коса одна и та ж 
ей наплевать на званья и чины.

IX

Но даже смерть должна угомониться,
допита чаша горести чумной,
поля пусты, осыпалась пшеница,
из моря всходит ужас ледяной.

Роняет небо ледяные крошки,
и те, кто дальше жить осуждены,
с трудом вставая, покидают лёжки,
стесняясь худобы и седины.

Изгнанники домой бредут бездумн 
туда, где ждут работа и ночлег.
Изломан плуг, заплыли грязью гумна.
И сгнили пугала, и выпал снег.

X

Истории зловещая частица,
плясунья безобразная, чума,
веки нам с тобой не расплатиться
за все опустошенные дома.

Хозяйничая, буйствуя, зверяя,
безумствуя, лютуя и губя,
неслась, как хоризантская хорея,
престолы подминая под себя.

Бичевщиков кровавая забава
пришла к закономерному концу,
чтоб человек, не мудрствуя лукаво,
остаться с Богом мог лицом к лицу.

1925

ТРИ ПАРЕНЬКА

Мы трое – голодные, мы – оборванцы,
конечно, почтенный судья!
Один – от папаши сбежал, от пощечин,
другой же – чахоткой измаялся очень,
а третий опух, – это я.

Конечно, конечно, еще раз подробно:
мы прятались за валуны,
девчонка по гравию шла и похожа
была бы на лань, каб не дряблая кожа,
а темя-то вши, колтуны.

Так сладко брела она сквозь забытье;
ну, тут мы, понятно, поймали ее,
смеркалось, темнело;
мы справили дело,
а слезы... ну, будто она не хотела!..

Какая-то птица затенькала тонко,
порой, как монетки, звенела щебенка,
а так – тишина,
одна тишина,
как будто и жизнь-то уже не нужна.

На рану ее мы пустили рубашки;
поймают – мы знали – не будет поблажки.
Вот весь мой рассказ...
О свет моих глаз,
о девочка, разве болит и сейчас?

Почтенный судья, все же сделай поблажку,
скорее всех нас упеки в каталажку,
там вечный мороз, –
а если всерьез –
так лучше не помнить ни мира, ни слез.

1927

ЛЕОПОЛЬДШТАДТ

Со столицей сросся ты вплотную,
скоро станешь ты совсем похож
обликом на Вену остальную,
но пока что строго бережешь
чинную еврейскую мишпоху,
мораван, толпящихся вокруг:
сохранить пытаешься эпоху
пирога из материнских рук.

Пригород, галдящий спозаранку,
запахи, что рвутся из дверей,
весть неся про масло и овсянку,
про гусиный жир и лук-порей.
Гостя не погладит по головке,
но пропасть не даст, уж как-нибудь
отведет к недорогой столовке
и укажет к набережной путь.


Турок в феске, невзначай расслабься,
так и не сумел продать кинжал,
и старьевщик, начиная шабес,
рыбу фиш в руках не удержал,
Тот же дым и привокзальный шорох,
и, как прежде, так же бестолков
мир соблазнов, с помощью которых
Пратер привечает чужаков.

Впрочем, на исходе краткий отдых;
в шаге от канала и рек
задыхаясь в собственных отходах
гибнут и угл тупики.
Морок переулочный все гуще;
три десятка лет ушло во тьму,
в городские каменные кущи,
о которых думать ни к чему.


1927


ЗИМНИЙ ЛЕС

В дни, когда догнивает отава в полях,
все плотнее осенних туманов завеса,
дым из труб оседает на старых домах,
и недвижно стоит на окрестных холмах
ледяная стена обнаженного леса.

На торговую площадь вступает зима
и холодный озноб пробегает по коже,
и отходит природа морозу во власть,
и листва устилает проезжую часть 
и тепло одевается каждый прохожий.

Ежедневно грохочут в лесу топоры
и разносится гул от пригорка к пригорку,
и снежинки ночами уже тяжелы,
и со скрипом возы ледяные стволы
к столярам в мастерские везут на окорку


Стынут вывески лавок, коробится жесьть,
незаметно ледок запасает застреха;
за вязанками хвороста, в лес напрямки,
осторожно по тропкам бредут бедняки 
и беснуется в комнатах гулкое эхо.

Это значит, что выпить пора за друзей,
посиделкам в шинке не мешает погода;
и становится кровь у людей горяча,
и леса, над холмами угрюмо торчат 
неподвижны в преддверии нового года.

1927

МОНАСТЫРСКИЙ СУП

Забредши в парк, похожий на пустырь,
оголодав и ослабев вконец,
ты согласишься двинуть в монастырь,
куда идут бродяги на супец.
И ждешь в толпе ты чуть ли не века,
что тяжкий пар повалит от котла,
и возвестят удары черпака:
отрепышам пожрать пора пришла.

Трясет над первой мискою тебя,
ошпарившись, идешь ты за второй,
и, долго шкварки вилкою скребя,
томишься возвратившейся хандрой.
Прихлынут слезы, как двойной ручей,
и блевануть захочешь неспроста
не только миской слопанных харчей,
но жизнью всюю, тогда то прожита.

Отбросишь третью, и притом назло:
отчаяние станет таково,
что никакое горькое бухло
позор не смоет с нёба твоего.
И ты начнешь гордиться нищетою,
и побредешь по жизни как слепец,
наведаясь в тот же парк пустой
и позовешь бродягу на супец.

1927

ПОЛЕВОЙ СТОРОЖ

У сторожа сада простые труды:
следить, чтоб какой не случилось беды;
топорик держа, он идет напрямиком
туда, где припрятаны хлеб с молоком.

Стручки и метелки окутаны мглой,
от елок на холмике пахнет смолой,
косы ожидает трава на лугу,
тропинка пружинит на каждом шагу.

Рачительный сторож привычен к труду;
он видит: бродяга кемарит в саду;
у груш созревающих мякоть – что мёд;
так что же, босяк ни одной не возьмет?

Бродяге плевать, что на травке роса,
над ним, как тарелка, висят небеса
а груша на ветке готова упасть,
и чуть ли не лезет голодному в пасть.

У сторожа в глотке – мучительный ком,
он сам с нищетою неплохо знаком,
и тут он бродягу берет в оборот,
и в рот ему грушу насильно сует.

1928

ПУСТОШЬ

В дни, когда высыхает растаявший снег,
и друг другу леса шелестят по-старинке,
выделяется пустошь среди пашен и нив,
где лишь овцы порою пройдут, наследив
на траве худосочной, на чахлам суглинке.

Плуг на пашне ворочает комья земли,
на холмах издалека видна суматоха, –
но и пустошь еще не иссохла вконец,
зной палит – и на ней расцветает багрец
оперенного звездами чертополоха.

По ночам здесь царит величавый осот,
полкаясь, топочет по глине отара,
утром – посох пастуший гоняет гадюк,
полдень сух и горяч, – лишь под вечер вокруг
нераспаханный грунт остывает от жара.

Только осенью пустошь привольно цветет:
бук теряет листву, и взлетает в просторы
клеток грифов, кузнечиков мерный напев,
и на горной тропе дождевик, перезрев,
рассыпает горячие черные споры.

1928

МАРТА ФЕРБЕР

Марту Фербер стали гнать с панели –
вышла, мол, в тираж, – и потому
нанялась она, чтоб быть при деле,
экономкой в местную тюрьму.
Заключенные топтались тупо
в камерах, и слышен этот звук
был внизу, на кухне, где для супа
Марта Фербер нарезала лук.

Марта Фербер вдоволь надышалась
смада, что из всех отдушин тек,
смешивая тошноту и жалость,
дух опилок, пот невымытых ног.
В глубину крысиного подвала
лазила с отравленным куском;
суп, что коменданту подавала,
скупо заправляла мышьяком.

Марта Фербер дождалась, что рвотой
комендант зашелся; разнесла
рашпили по камерам: работай,
распили решетку – все дела.
Первый же, еще не веря фарту,
оттолкнул ее, да наутек, –
все, сбегая, костерили Марту,
а последний сбил кухарку с ног.

Марта Фербер с пола встать пыталась;
воздух горек сделался и сух.
Вспыхнул свет, прихлынула усталость,
сквозняком ушел тюремный дух.
И на скатерть в ядовитой рвоте
лишь успела искоса взглянуть,
прежде, чем в своей почують плоти
рашпиль, грубо распоровший грудь.

1928

ТРАВА В ОГНЕ

Если даже отара в полуденный зной
ни травинки не сыщется на пастбище горном,
то покрыта земля вдоль опушки лесной
пожелтевшим, уже засыхающим дерном.



Но внезапно и жутко чернеет земля,
загораются травы, и неумолимо
летней ночью из чащи в сухие поля
простираются щупальца жгучего дыма.

И скотина в наполненном смрадом хлеву
видит травы... кустарники... чистые степи...
незабвенную даль, но – уже наяву –
чувет запах пожара и дергает цепи.

1928

УМИРАЮЩИЕ РЕКИ


Хворают великие реки,
уходят в прибрежный песок,
мелеют, мертвеют навеки,
ни драга, ни чистка не впрок.
С плотины по грязи и глине
по скалам летит водопад,
и мутный поток на равнине
тяжелою дамбой зажат.

Задымлены близи и дали,
ольшаник иссохнуть готов,
столбы телеграфные встали
в низовьях на месте лесов.
Крошатся прибрежные глыбы,
под мусором отмель растет,
идохнут последние рыбы
среди погани и нечистот.

От некогда дикой природы
уже ни следа;
цементные, грузные воды
угрюмо текут в города.
Пусть ливни хлопочут, но вскоре
свой облик изменит страна:
бесцельно потянутся в море
лишь русла, сухие до дна.

1928

ШАБАТ

Реб Натан худощав. В шевелюре полно седины.
Аккуратно подстрижен, надушен. Рубашка чиста.
Он следит за собой; ни детей у него, ни жены;
трубку разве что на ночь согласен убрать изо рта.
Вечер пятницы. Спущен навес, отзвенели ключи.
В старый город, в харчевню теперь отправляется реб,
где накрыты столы, где как раз в этот миг из печи
извлекается хала, субботний  оржественный хлеб.

Фаршированной рыбой Натан угоститься горазд,
с перцем, с луком, с коринкой – мечтать ли о чем-то ином?
Он тушеной говядине должное тоже воздаст,
и закончится трапеза красным испанским вином.
Приближается ночь, и становится грустен Натан,
одинокое ему возвращаться в пустое жильё,
побродив, выбирает одну из дешевых путан
и по лестнице грязной ведет осторожно ее.

На матраце без сна он лежит в онеменье тупом;
бесполезные мысли в потемках по кругу ползут;
на постель со стены осыпаются клоп за клопом;
вся искутана кожа и не унимается зуд.
Так, во тьме непроглядной, привычною мучась тоской,
он лежит до утра, престарелой девице не рад,
но приходит рассвет, к счастью, трубка всегда под рукой,
и тогда вспоминает Натан, что сегодня – шабат.

1928

ГРОБ

Он постарел и поседел,
решил: «т-вот помру»;
спокойно принял свой уд
и двинул к столяру.
Там выложил старик седой
все деньги, что наскреб,
и заказал себе простой,
зато удобный гроб.

Приобретение свое
отпраздновал старик,
он чистое надел белье
и бороду подстриг.
По воскресеньям иногда
он стал лежать в гробу,
решив до Страшного Суда
благодарить судьбу

Сияло солнце горячо
чудесною весной;
но на торгу ему в плечо
вцепился конь сапной.
Недолго был он нездоров:
чуть врезал дубаря,
беднягу в известковый ров
швырнули лекаря.

Но надо ль пропадать добру
из-за больных кобыл?
За то спасибо столяру,
что гроб просторным был.
В нем со сметаною горшок
стоял июльским днем,
и лука зимнего мешок
хранил хозяин в нем.

ГОРНАЯ ДЕРЕВНЯ

Стоит среди сланцев и тощих лесов
деревня с далекой поры;
черствеют на глине побеги овсов,
паршою покрыты бугры.
Тенета в домах от стены до стены
плетет ядовитый паук,
и женщины местные сами должны
весною распахивать луг.

Подуют ветра из небесных пучин,
в природе запахнет зимой;
сезон оттрубивши, десяток мужчин
в деревню вернется домой.
Стоит на исходе осеннего дня
фигур череда неживь
и смотрит на то, как темнеет стерня
у грубых камней межевых.

Мужчины творят ежегодный обряд,
вернувшись в свой сланцевый край;
глядишь, то колеса они мастер
то чистят навозный сарай.
И долго сидят и молчат мужики,
на плечи набросив рядно,
овсяного пыльного хлеба куски
весь вечер макая в вино.


1929


УЛИЧНОМУ КОНЮХУ

На углу, безропотен и кроток,
службу он свою исправно нес,
мыл колеса городских пролетов
и конягам насыпал овес.

Часто он трудился до упада,
с места ни на шаг не уходя,
и в порывах уличного смрада
чувял приближение дождя.

Нелегка была его работа,
все же ежедневно, как-никак,
мог он разрешить себе хоть что-то –
терпкое вино или табак.

И порою он, собравшись с духом,
не терзаясь совестью ничуть,
отправлялся по знакомым шлюхам 
чтоб душой и телом отдохнуть.

В самый длинный день и в самый краткий
конюх не роптал на жребий свой,
даже и не сетовал украдкой,
что покрылись щеки синевой,
разве что, измаян мелочами,
доносил с трудом стакан до рта,
между тем  так за его плечами
тяжело висела пустота.

1929

ОКТАБРЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ

В кустах и на деревьях пестрота,
обнажены далекие поля:
черна и, словно противень, пуста
еще вчера зеленая земля.

Созрело все, и убран каждый злак,
простор широк и чист, как никогда, –
медовый воздух до конца размяк,
как сердцевина спелого плода.

Последний день, когда царит покой,
когда ни холода, ни зноя нет,
и высоко изогнут над землей
окаменевший густо-синий цвет.

1929

* * *

На сучьях высохла листва,
простор осиротел;
поникла ведьмина трава
и высох чистотел.
Дрожат колючки бодяка,
над пустошью торча,
и тыкв ребристые бока
встопорщила бахча.

С трудом порхает мотылек,
тепло сошло на нет,
и серебристый хвощ ползет
и умер троецвет;
одежду сбросили кусты,
ромашки отцвели,
и сеятеля ждут пласты
распаханной земли.

Воспламенился бересклет,
забылся летний зной,
сухие сучья на просвет
полны голубизной.
Ветер приветливей ветра,
ветер ближе холода,
и ломкий дерн покрыт с утра
кристалликами льда.

ГОРБУН

Жил калека в мансарде с косым потолком;
сыро, холодно – все не беда.
Пансиона хватало на хлеб с табаком,
так что он не ходил никуда.
Но двоих шантажистов попрешь ли взашей,
если силы иссякли давно?
Вот и тратился он из последних грошей
на грудинку, на сыр, на вино.

Понемногу пришлось распродать гардероб,
оловянную утварь со стен;
и в затылке калека с отчаяньем скреб,
ожидая дурных перемен.
Он рубаху жевал и пытался уснуть,
только было совсем не до сна,
если парни дрались, утихали чуть-чуть
и шпыняли, смеясь, горбуна.


А однажды устроили гости погром,
увидав, что все меньше доход:
обмотали калеку гардинным шнуром
и до дна обшмонали комод.
Уложив небольшой узелок барахла,
порешили: мол, дело с концом.
Весь табак горбуна докурили дотла
над его посиневшим лицом.




1929

О ВЕЛИКОЙ САРАНЧЕ БЛИЗ ЛИХТЕНВЁРТА

После Троицы, в воздухе страх нагнетая,
налетела засушливым днем саранча,
опустилась с небес исполинская стая,
и по скудной земле поползла, стрекоча.

Вился черный самум разъяренно и шало,
пожирая траву подчистую, насплошь,
лишь соломой сухой обреченно шуршала
кое-где саранчой пощаженная рожь.

Становилась все суше земля, все шершавее 
но неспешно жирела бесплодная грязь,
обвалилась голодная туча на гравий,
мирадами ссохшихся тел громоздясь.

Были темною массой покрыты тропинки 
и по рельсам ходить поезда не могли;
почерневшие тельца  крылья  спинки
погружались в пласты оскверненной земли.

И крестьяне, лихую напасть обмерекав,
земляными валами прикрыли дворы,
на просушку достали зерно из сусеков,
и вокруг саранчи запалили костры.


Долго воздух в долинах не делался чище,
от полей расползались гнилые дымы,
истомясь под горящим гнильем, пепелище
обреченно чадило до самой зимы.

1930

О ВЕЛИКОЙ ГИБЕЛИ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ВОЗЛЕ ВИТШАУ

Ранним утром объявились в хвойных чашах
ненасытные чужие мотыльки.
Туча полчищ, беспокойно шебуршащих,
черным снегом облепила сосняки.

Крыльца черные топорща, словно рясу,
грызли ветви до подкорья, вполсыга,
от въедающихся жвал не стало спасу,
и на хвою напознала краснота.

Даже ветер перед ними был бессилен,
цепи гусениц свивались в пояса,
дятлы яростно стучали, ухал филин 
умирали обреченные леса.


В дымке осени от комлей и до сучьев
разносился гул, протяжный и глухой,
дерева, сухие ветви скорбно скрючив,
ждали только, чтоб рассыпаться трухой.

Чернорясники в оцепененье сонном
прекращали класть яички под кору,
отползали по чешуйкам к лысым кронам,
замирали, коченея на ветру.


И, наполняя воздух запахом погостным,
подыхали без жратвы, всю осень тек
на смерзающийся грунт по голым соснам
черной патокой гнилой и липкий сок.

1930

ПОХВАЛА КАРТАМ

Тишина в палате для заразных:
миновал для посещений срок.
Вспомнили мужчины о соблазнах 
и решили поиграть в тарок.
Мы поспешно сдвинули кровати,
жаль, но не смогли стола найти,
отыскали третьего в палате,
к выписке готового почти,

Полетели бубны, трефы, червы,
в этом деле не до мелочей;
шла игра и накалялись нервы,
мы плевать хотели на врачей.
Туз бланковый – он всегда в фаворе,
ровно так же, как и год назад,
отступают старческие хвори,
если выпал выгодный расклад.




За игрой не надо торопиться,
вот и пусть ползет за часом час,
у сестер в руках мелькали спицы 
и никто из них не дергал нас.
Это лучше, чем валяться тупо,
предаваться жалкому нытью,
зная, что один лишь запах супа
смыслом наполняет жизнь твою.

1930

ХОЛМ

Есть холм за городской чертой,
опрятен, невысок;
на нем все лето травостой –
сурепка, полынок.
Крича, снижаются стрижи
и вновь идут в полет;
среди метелок дикой ржи
господствует осот.

Приходит жнец, садится в тень,
макает хлеб в вино,
и набухает, что ни день,
пшеничное зерно.
Повозка в тягость для коней,
бредуг, почти дремля;
впервые те, кто едут в ней,
увидели поля.

Плуг приползет е спеш 
кусок холма е вест,
но вновь пшеница хороша
и цел дорожный крест.
Густа, как прежде, рядом с ним
бурьянов бахрома,
и место парочкам ночным
найдется у холма

1930

Маленький шалманчик есть на берегу,
где дают тройные порции рагу,
и хозяин местный не настолько глуп,
чтоб сердится, если спросят только суп.

Грузчики со склада, кончивши труды,
загружают брюхо мисками еды,
кашляет тряпичник, лопаю супец,
и винцо лакает щеточник-слепец.

Все друг друга знают здесь наверняка,
непоспешно к ложке тянется рука,
к трапезе приступят, ощутят сугрев,
и в себя приходят, мигом подобрев.


Хриплым разговором полнится шалман,
в бородах матросов мечется туман,
гавань облепила тягостная мгла,
граммофон терзает старая игла.


Отдыхом вечерним все поглощены,
можно сколько хочешь протирать штаны,
сквозняки уносят прочь из кухни чад,
и слепцы ритмично по столам стучат.

1931

НАСЧЕТ БОРДЕЛЯ

Уютный дом, куда, не поспешая,
приходит гость, дождавшись темноты,
бордюр, газон и клумба небольшая,
сколь многое для многих значишь ты.
Здесь есть все то, чего хотят мужчины,
здесь говорят легко и напрямик,
чиста постель, и сброшены личины,
а в обиходе *лишь один* язык.

Желаемое здесь всегда в достатке,
в почете здесь юнцы и старики,
у женщин в моде длинные перчатки,
зато у них и бедра широки.
Здесь есть постарше, есть и помоложе,
найдутся и девицы  вдова,
отнюдь не размалеванные рожи,
но подлинные жрицы мастерства.

Одни всю ночь работают в охоту 
сухими вылезают из воды;
другим с утра кусок не лезет в глотку
и тяжело снова браться за труды.
Иные здесь привычно, на работе,
и только оттирают плоть со лба,
они-то знают, что желанья плоти –
не странный сон, а именно судьба.

В начале дня избавятся от грима,
и лишь когда останутся одни,
поймут, что здесь ничто не изменимо
ни завтра, ни во все другие дни.
Не сыщешь ни итога, ни причины,
с судьбою разбираться – толку нет:
ведь это дом, в котором для мужчины
всегда найдется нежность напослед.

1931

ЧЕРЕЗ ПОЛЕ СТЕРНИ

Нам через отавы
далеко идти,
выгорели травы
по всему пути.
Листья в алой дымке
плавают, вихрясь,
близятся зазимки,
подмерзает грязь.

Высохли осоты
у гнилых межей,
все бледней высоты,
воздух все свежей.
Напрочь почернели
прясла огорож;
по раскисшей прели
поспешает еж.

Проплывают нити
сорванных тенёт,
тянет духом сняти,
мир вот-вот уснет.
Облаков завеса
медью облита,
и бледнеют леса
летние цвета.

1931

* * *

Неподалеку от крыльца
стояла бузина;
коснуться веток деревца
могли мы из окна.
Страдало деревцо от рук
детей-односельчан:
был так хорош бузинный сук,
чтоб вырезать колчан.

Сорвать ее коры кусок
хотел из нас любой,
и с рук не отмывался сок
густой и голубой.
Печально лето шло к концу,
вдруг повзрослели мы,
и осознали – деревцу
не выжить до зимы.


И отдавалась бузина
гниению во власть,
мы видели – она черна
и норовит упасть.
Без сожаленья ствол больной
срубили в горький час,
и детство вместе с бузиной
окончилось для нас

1931

СКУДНЫЙ ВИНОГРАДНИК

За городом спят виноградни
у краешка горной гряды,
и трудно найти безотрадной
картину, чем эти ряды.
В лощинах бесплоднее жести
кочки пересохшей земли,
и многие с лозами вместе
отсюда навеки ушли.

И все-таки в год хоть однажды,
печальным прогнозам вразрез,
во имя спасенья от жажды
в давальне работает пресс.
И запахи сула по дому
плывут, трепеща и дрожа;
навстречу вину молодому
приходят с полей сторожа.

Над кружками светлого сока
разброд в головах и в словах;
колеблются ветры высоко,
заснули коровы в хлевах.
Осеннее таинство длится 
и праздник идет годовой,
и в темени светятся лица
под нежной орешной листвой.

1931

ОВОЩНОЙ РЫНОК

Все напрасно, все впустую,
лоб морщинистый в поту,
впрочем, жизнь пережитую
опишу начистоту.
Мне судьба не даст потачки,
но, покуда смерти жду,
сердцем снова я при тачке
в овощном своем ряду.

Я не сетовал ни разу,
что разбит и что устал,
от лабаза и к лабазу
тачку я всю жизнь катал.
Посреди базарной брани
лишь старался пошустрей
подвезти к прилавкам ранний
лук-порей и сельдерей.


Ничего я, как в насмешку,
не скопил и не сберег,
вот пойти бы мне в кафешку,
пропустить бы стопарек,
отыскать бы стол потише
и, вдали от лишних глаз,
отдохнуть бы в теплой нише
и не мерзнуть, как сейчас.

1932

* * *

Вблизи от столицы не жизнь, а отстой,
крестьянин измаян тупой нищетой;
в душе его круглые сутки разброд,
он близостью города взят в оборот.

Он спаржу сажает, забыв про хлеба,
спокойно трудиться ему не судьба;
не хочет пахать, не корчует кустов,
он в город без повода мчаться готов.

Он дышит дурманом кирпичных теснин,
в нем пахарь живе  живет мещанин,
он здесь от забот ежедневных далёк,
и рад потому опростать кошелек.


Без денег в мошне и без мыслей в уме
он дни коротает на лавке в корчме,
и утром воскресным в толпе городской
глядит на нее с ядовитой тоской

1932

СТАРЬЕВЩИК

Лейб Хиршкрон скупал по дешевке одежду,
всегда осторожный, всегда деловой;
дырявые вещи чинил понемножку,
а те, что без дырок, хранил в кладовой.
Он пахнул, как пахнет гнилая тряпица.
Какие доходы со старых пальто?
Попробуй к нему с болтовней подступиться.
Лейб Хиршкрон не станет болтать ни за что.

Лейб Хиршкрон состарился, дырки латая,
лица, штукая, он помнит о том,
что с молью бороться – забота пустая,
но можно прореху закрыть лоскутом.
Он знает, что очень погано людишкам,
и крыша у них – что твое решето,
да только сочувствовать надо не слишком.
Лейб Хиршкрон не станет болтать ни за что.

Лейб Хиршкрон у лавки сидит на приступке,
одет, как всегда, в допотопный сюртук;
развешены в темном чулане покупки,
привычно прикушен янтарный мундштук.
Приходят клиенты в жилетку поплакать:
кие доходы со старых пальто?
Старьевщик и рад бы малёк побалакать...
Лейб Хиршкрон не станет болтать ни за что.

1932

СУХОЙ СНЕГ

Когда зима вздохнуть природе даст
и снегопады прекратятся резко,
сугробы спешно прячутся под наст,
подалее от собственного блеска.
Касанья снега липки и легки,
он оседает тяжело и покорно,
попутно обрывая черенки
последних ягод высушенного тёрна.

Он облакает наледью рогаз,
ломает стебли тростнику гнилому,
ложится на тропу и на откос,
стирает в пыль осеннюю солому.
Лыжня сверкает лентою сухой,
на тонком льду вздувается короста
и на ветру становится трухой
изгрызенная зайцами берёста.

Повылиняло рубище зимы,
утратил мир осенние расцветки,
сиротствуют раздолы и холмы,
стволы промерзли, опустели ветки.
Над блеклостью простерта синева,
играет свет в лощинах и на кручах,
и ветер, сотрясая деревья,
бесцельно пляшет на холодных сучьях.

1932

СОН О ЗАБЫТОМ НА ПОСТУ

Опять за окном начинается снег,
и мне не поднять тяжелеющих век,
и я опасаясь грядущего сна,
где сызнова будут Волынь и война.

И ветер приходит, и мимо крестов
меня донести до окопов готов,
я вижу: там переживает пургу
солдат с карабином на грязном снегу.

Я долго смотрю на него, как впервой,
лицо его странной полно синевой;
до мозга костей он сегодня продрог,
к тому же и пайка не выдана в срок.

Никак не приедет солдатский обед,
к тому же и курева, кажется, нет;
я перед солдатом сижу на снегу
и с ним перекинуться в карты могу.

Сивуху из фляги мы пьем жестяной,
солдату кемарится рядом со мной;
беру медальон его, вверясь чутью,
привычно фамилию вижу свою.

1932

У ПОСЛЕДНЕГО КВАРТАЛА


У последнего квартала,
где усадьбы деревень,
отступив, берут начало,
бродит ветер целый день.
А над городом полого
темный дым из труб идет –
над железною дорогой
испаренья нечистот.

Кочаны взирают с грядок;
дремлет утварь; в кладовой
удивительный порядок;
час дневной и час ночной
бродят по террасе ветхой,
в сад выходят сквозь окно,
виснут яблоком под веткой
и в стаканы льют вино.

Магазины возле зданий
вырастают что ни день,
на прилавках – трубки, ткани,
сувениры, дребедень,
тут – консервы, там – циновки.
На клочке – отсель досель –
кружится без остановки
заводная карусель.

1933

ВЫСЫЛКА



Барбара Хлум, белошвейка из города Фрайн 
девушка, год как без места, собой недурна,
в номере ночью с приезжим попала случайно:
ни документа, ни денег: короче, хана.

Барбару Хлум осмотрели в участке, где вскоре
с ней комиссар побеседовал начистоту
и, по причине отсутствия признаков хвори,
выслал виновную за городскую черту.

Мелкий чиновник ее проводил до окраин
и возвратился в управу, где ждали дела.
Барбару Хлум приютил деревенский хозяин,
всё же для жатвы она слабовата была.

Барбара Хлум, невзирая на страх и усталость,
стала по улицам снова бродить дотемна,
на остановках трамвайных подолгу топталась,
очень боялась и очень была голодна.

Вечер пришел, простираясь над всем околотком,
пахла трава на газонах плохим коньяком;
Барбара Хлум, словно зверь, прижимаясь к решеткам,
снова в родное кафе проскользнула тайком.

Барбара Хлум, белошвейка из города Фрайн 
девушка, год как без места, в опорках, в тряпье,
на тротуар  блаву попала случайно,
что и отмечено было в арестном досье.

1933

ОЗЕРО НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ

Поздно ночью, с кочкарника, с плавней сырых
душный ветер внезапно подул.
Переполнилась пеной пустынная тьма,
и лизала песок водяная кайма,
донося нарастающий гул.

Отступала куда-то озерная зыбь,
чуть поблескивая, как слюда,
и до самой венгерской границы пески
обнажались, намытые руслом реки,
и спадала, спадала вода.

Чешуей забурлил, ошетинился ил
исчезающей влаги вослед,
и над озером чаячий вихорь повис,
то взлетая, то хлопьями падая вниз,
застилая пришедший рассвет.

Птицы жадною тучей слетелись сюда,
чтоб сожрать хоть кусок про запас,
и ушли, одурев, огрузнев от возни,
всю озерную ширь исклевали они,
и не место здесь людям сейчас.

И свинцом отражается в небе вода,
и земля прибирается тьмой.
Виноград то ни де все зрелей и зрелей,
но не время об этом: с озерных полей
снова тянет гнильем и чумой.

1933

ДЕШЕВЫЙ РЫНОК

В пригородном утреннем чаду
затихает утренний гудок;
тянутся на рынок бедняки,
где товар обжорные ларьки
разложили за рядком рядок.

Горы чуть помятых огурцов,
кочаны покоцанных капуст;
ветер пылью кроет тротуар,
мухами покрыт мясной товар,
запах крови тягостен и густ.

Женщинам, спешащим в этот ряд
не впервой детей тащить с собой;
все вперед просчитано, в обрез,
чтобы прикупить костей на вес
и добавить к ним говяжий сбой.

Зелень пересохшая с гнильцой,
второсортен и заветрен ляд,
женщины ругают продавцов,
дети ждут заветных леденцов,
затаив стеснительный азарт.

И хозяйки тащатся домой,
притомясь с детьми на холоду,
ни гроша у них на баловство:
им не надо больше ничего
в пахнущем кислятиной ряду.

1933

В СТАРОМ КВАРТАЛЕ

Там, где проулки всего ничего шириной,
с вывесок сыплется краска в полуденный зной,
сохнет замазка и плесень въедается в клей,
запахом уксуса тянет из дыр и щелей.

В этих проулках одна нищета налицо:
лавки в подвалах тесны и убого винцо,
женщины в узких окошках бледны и худы,
медленно вянут, подобно цветам резеды.

Но ни единый шалман не бывает пустым:
здесь, не чинясь, расстаются с грошом нажитым,
могут и в долг отпустить, если кто на мели;
пылью рожденный всю жизнь пребывает в пыли.

Стекла оконные вечно в мушином дерьме,
что не мешает тому, кто сидит в полутьме
сызнава сердце раскрыть нараспашку судьбе,
думать о прошлом, его воскрешая в себе.

Терпкая пыль в переулках на низком ветру,
пыль, что в шалмане скрипит на зубах ввечеру,
мир облекая тяжелой волной духоты,
грим налагая на лица, пласты на пласты.

Все же сияют бегонии в каждом окне,
и ничего, что воды многовато в вине,
город огромен, и воздух горячий горчит;
сердце, однако, в груди только здесь и стучит.

МОРОЗ В ПРЕДГОРЬЕ

Снег на крышах затвердел и высох,
едкий ветер жёсток и жесток;
изморозь лежит на барбарисах,
по утрам все крепче холодок.
Сыплется с ветвей лишай шершавый,
пылью зависает на ветру,
и кипит испариною ржавой
хвоя в затихающем бору.


Насыпи замерзли и канавки,
в мире что ни день, то холодной,
поселяне чаще ходят в лавки,
свежий снег на трактах ждет саней.
В погребе работает хозяин,
ковш не выпускает из руки,
кочегар злобищею измаян,
мелкий фермер чинит башмаки.

Зимний час пришел за летним часом;
жизнь вступает в море тишины;
дрожь идет по кольям и каркасам,
и растут сугробы у стены.
И в шалмане дымный воздух жарок,
и мороз все более суров,
и трепещут, стоя у флюгарок,
петушки замерзших флюгаров.

1933

СВАЛКА

У завода, далеко за домной,
над землей, сожженной жарой,
свалка возвышается огромной,
мрачною и ржавою горой.
У подножья груды бестолковой
черствыые топорщатся бугры,
и скрипит на рельсах кран козловый
доставляя новые дары.

И гора все выше год от года,
всё растет, окрестности губя,
продвигаясь в сторону восхода 
мергель подминая под себя,
на горчащий ветер невзирая,
никогда не отступая вспять,
ржавчиной равнину попирая,
медленно ползет за пядью пядь.

Оседает холм и шевелится,
но из опоганенной земли
прорастают полба и кислица,
тянутся побеги конопли.
Плесневевает мусорная грудa,
лепестки роняет дикий мак,
и густеет травостой, покуда
к праху прах идет и к шлаку шлак.

1934

ПЕСНЬ У ФОНАРЯ

Погасла в переулках
вечерняя заря;
сплюнь косточку от сливы,
приятель боязливый,
дойди до фонаря.

Не нужно разговоров,
не надо прятать глаз;
иди сюда, прохожий,
мы видимся, похоже,
с тобой не в первый раз.

Идем ко мне, приятель,
дай за руку возьму;
не думай, мой хороший:
ни шиллинги, ни гроши
сегодня ни к чему.

Ты лаской этой ночью
не будешь обделен;
твоим теплом согрета,
приму я до рассвета
любое из имен.

Здесь лестница крутая;
скажу начистоту:
ты обо мне не думай,
пусть лишь рассвет угрюмый
вернет нас в нищету.

1934

УТРО В КОМНАТЕ УЛИЧНОЙ ДЕВОЧКИ

Подводы за окном затарахтел
от фабрик чад струится тяжело;
ты ночь прокоротал в моей постели,
уж не сердись, но время подошло.
Вон – угольщик заехал в двор соседний,
совсем беда от этих колымаг;
твое пальто – на вешалке в передней,
а в синей крынке, в кухне, есть каймак.

Присядем ненадолго, право слово:
не торопись, побудь со мной в тепле;
отрежь на завтрак два ломтя ржаного,
молоко и кофе – на столе.
Налить побольше или же не надо?
Как хочешь, не советуйся со мной;
какая, право, странная отрада:
сидеть с тобою, будто муж с женой.

Ложится день осенний на округу;
листва на кленах утренних мокра;
мы были нынче радостью друг другу;
остыл кофейник, и тебе пора.
Мир ото сна воспрял, готовый к бою –
не худший вариант начала дня;
накрашусь, да и выйду за тобою:
туда, где город снова ждет меня.

ТРАКТИРЩИЦА В СТРАДУ


Июльским солнцем залито окно,
гудит мушиный рой над головой;
жнецы на пашне трудятся давн
и тяжелы ключи от кладовой.
Вино угрюмо киснет в кувшине,
слезоточат швейцарские сыры;
опять спина разнылась, душно мне:
вздремнуть охота от такой жары.

За дверью замер осторожный шаг;
кого-то припекло дневным огнем;
ведь это точно кто-то из бродяг,
никто с работы не уходит днем.
И я боюсь удара тесака,
и я удавки с шеи не сорву,
и мой последний хрип наверняка
услышит разве только скот в хлеву.


Дурацкий страх! А ну не трепещи:
нигде никто от смерти не заклят;
опять шуршат засохшие хвощи,
опять ступни отекающие болят.
Чего не увидеть во сне дурном...
От зноя впору тронуться в уме.
Рыдает сыр, скучает жбан с вином,
до вечера пустой стоять корчме.

К ЗЕМЛЕ

Струится с неба синева
на мергель и на дерева,
в природе – тишина;
течет с укропа тяжкий сок,
и возвращаются в песок
жуки и семена.

Копает  себе нору,
спешат согреться на юру
медянки средь камней;
улитка затворяет дом,
и пробирается с трудом
полевка меж корней.

К земле земная живность льнёт,
на мир, приумножая гнёт,
ложатся небеса;
ветра все более свежи,
и позабыта у межи
последняя коса.

Ежа, улитку и шмеля
миролюбивая земля
зовет к себе на грудь;
спокоен предосенний св 
и повода у сердца нет
в пути захолонуть.

1934

ВЕСЕННИЕ КОСТРЫ

Время начаться весне,
снегу растаять пора,
по клеверам и стерне
влажные бродят ветра,
дышат тяжелым теплом,
мнут на деревьях кору,
хворостяной бурелом
мрачно гниет на юру.

Ветер кружит над страной,
мертвые листья трепля,
бродит опушкой лесной
и отлетает в поля.
Тяжек и черен сырой
хворост в руках детворы,
свалены сучья горой,
и польхают костры.

И на равнинах покров
перестилает страна,
и от зажженных костров
рвутся в простор пламена.
И ощутишь ты весну, –
только к огню подойди, –
и у мгновенья в плену
сердце сожмется в груди.


1935



ЛАРЕК С ВЕНСКИМИ КОЛБАСКАМИ

Затемно уже стою в ларьке,
от прохлады утренней знобит;
под рукой доска, тесак в руке,
и шипит пылающий карбид.
Первый гость придет еще в ночи,
купит сыра, наберет колбас,
но куда важнее те харчи,
что возьмет клиент в привычный час.

Колбасу с беконом на обед
выберет почтительный слуга,
для линотиписта не во вред
закусить кусочком пирога.
И девицы, притомясь к утру,
тянутся сюда со всех концов,
с колбасы сдирают кожуру,
хлеба прикупив и огурцов.

Если надо посидеть в тени,
пот горячий отереть со лба,
все объедки от моей стряпни
в мусорные скиньте короба.

Плавится асфальтовая гладь,
над панелью виснет тяжкий ду 
и жара не хочет отпылать,
тишиною будоража слух.

У того, кто тронет мой рук 
цвет лица – что твой лесной ор 
взор его улыбчив и лукав,
так что подмигнуть ему не грех.
Видно, здесь в минувшие года
он бывал в туманный час ночной,
и озноб такой же, как тогда,
верх возьмет над ним и надо мной.

1935




ПЕРЕД РЯБИНОЙ

Остекленевших небес потолок,
рдяная кисть у развилки дорог:
мак дозревает и жатвина мокнет,
только рябина горит и не блекнет.

Ссохлась улитка, заснула пчела,
изморозь мясо плодов проняла,
шум над оградой тягуч, одинаков –
шорохи гусениц, посвисты шпаков.

Бьет паутинку осенний озноб,
ищут покоя вьюнок и укроп,
вот и рябина уходит далече,
рдяные гроздья взваливши на плечи.

Тихо коробочка мака жужжит.
В смерти – рожденье. Вьюнок задрожит,
ягоды вспыхнут, пшеница поляжет,
все это знают, а кто-то расскажет.

Возле развилки дорожной стою 
перед рябиной, на самом кра 
короток век мой... Погибну ль напрасн 
или же вспыхну рябиною красной?

1935

ПО ПОВОДУ СНОСА ВЕТХОГО ДОМА

В квартале разносится лязг стенобитных орудий,
трещит и крошится кирпич под киркой и кайлом;
мирок, что считали своим незаметные люди,
уходит в былое, он мертв и отправлен на слом.

Здесь велено вырасти новым постройкам просторным,
где будут квартиры во всей современной красе;
воздвигнется ровная насыпь над взломанным дерном,
проляжет покрытое серым асфальтом шоссе.

Потомки поселятся здесь и поверят едва ли
в ту прежнюю жизнь, в миновавший навеки этап,
когда здесь латуню, и жестью, и льном торговали,
садились за карты, играя в тарок или снап.

Молчат мудрецы, удаляются в сторону мрака,
мы тоже уходим и в этом не видим бед,
и пусть новостройки наполнятся солнцем, однако
останутся в жизни грядущей и наши следы.

Останутся здесь палисадников полные чаши
хранить для потомков старинный покой и уют,
и в утреннем ветре не смолкнут гармоники наши,
когда поливалок струи над травой запоят.

* * *

Где над каналом обрублен откос,
пелюха, полынь и песок,
дёрн обгорелый бугрист и белёс,
пенится мутный поток.
Ветер касается мачт и бортов,
гладит бушприт и корму;
шкипер привычно встает на швартов
около входа в корчму.

Все здесь привычно – скамейки, столы,
недурное винцо –
полные кружки в руках тяжелы,
мир и покой налицо.
Дымом и холодом тянет с реки,
полнится мглой небосклон,
тискают местных девиц моряки,
плачется аккордеон.

Пристань насквозь пропитал перегар,
мачта пронзает зенит,
город к реке протянул тротуар,
к шлюшкам в каморки манит.
Не суетясь, веселится шалман,
сумерки падают ниц;
ветром с канала уносит в туман
насыпь, траву и девиц.

1935

ВОЗНЕСЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ*

Колосья в поле высоки,
блестит цикорий на меже,
на паутине пауки
весь день настороже.

Звенит далекая коса,
идут другие вслед за ней,
и холодеть начнут леса
через немного дней.

Стерней топорщатся луга,
идет по зелени озноб,
рядами сметаны стога –
к снопу тяжелый сноп.

Картофельная спит ботва,
початки выставил маис,
и выцветает синей
печально глядя вниз.

Струится холод с высот
к перезревающим плодам,
остекленевшие кусты
готовы к холодам.

Куда стремятся облака –
угадывать и то не смей,
и, еле слушаясь шнурка,
скользит воздушный змей.

1935

.....
* 15 августа.

СЕСТРА

Семь лет, как она овдовела, семь долгих годин;
а муж был монтер, и собою хорош, и блондин.
Его схоронила, на службу в больницу пришла,
с глазами застывшими снова взялась за дела.

Деревья листвою зашумели весенней порой.
Ее у венериков сделали старшей сестрой.
Ее собственной воле она попросилась туда,
где хворей больные стыдятся, где горше беда.

Она по палате идет, ничего не боясь,
наложит повязку, заменит присохшую мазь,
нарывы прижжет, и ни криков кругом, ни обид
никто не стесняется и никогда не грубит.

Дождется гостей из бедняг далеко не любой;
возьмет того, в кабинет уведет за собой,
подсунет таблетку, хорошего дня пожелав,
тем временем – вымоет колбы, протрет автоклав.

Щипцы и шприцы равнодушно блестят за стеклом,
она остается одна за рабочим столом,
и шепчет в пространство, печали уже не тая:
взгляни, мой любимый, я так и останусь твоя!

1935

РОЩИЦА У ФАБРИКИ

Там, где мусор фабричный годами лежит
и по краю канав расцветает паслён,
есть почти непригодный для пашни кусок,
там ракета и вяз образуют лесок,
что дурной пересохшей травой окаймлён.

За кустарник рабочий идет в перерыв,
чуть его обозначит фабричный гудок:
в запыленную рощу приходит жена,
и на травку садится, и ставит она
перед ним с кукурузною кашей судок.

Никогда позабыть о дневной суете
он не может в убогом жилище своем;
из столовки дорога уводит во тьму,
и выходит, что некуда деться ему,
и угрюмо глядит он в пустой оком.

Далеко до усадеб, до барских дворов,
но оттуда служанка к нему на часок
ближе к ночи приходит побыть над ручьем,
парень ждет ее там, и неспешно вдвоем
удаляется пара в облезлый лесок.

Завалиться мечтают они в дурнопахнущих,
но обняться не смогут они, потому
что на пару другую наткнется рука,
и приходится им удалиться, пока
не закончила мать постирушки в дому.

1935

О ЖЕНЕ ДЛЯ КОММИВОЯЖЕРА

Тот, кто вечно в разъездах, нуждается в доброй жене,
как-никак он мотается в холод и в зной по стране,
от вокзала к вокзалу спеша, ни на что невзирая,
ублажая клиентов, не слишком притом привирая.

Надо ль быть ей особой красоткой – сказать не могу;
их в гостинице видишь, на службе, на каждом шагу.
Но пускай из отлучки она его ждет деловито,
одеяло взобьёт муки припасет для бисквита.

Полагается ей обладать и умом чутьем,
о делах разговаривать с мужем, следить за бельем,
гладить брюки, да так, чтоб они как влитые сидели,
и вносить в календарь поручения на две недели.



Тот, кто вечно в разъездах, как будто покорен судьбе –
он простой подчиненный, и все же он сам по себе;
коль мужчина в семье и добытчик, и прочих не хуже,
то жена уж конечно должна быть уверена в муже.

Он, конечно, знаток расписаний, таблиц и систем,
но в душе понимает, что трудится только за тем,
чтобы в запахе лип провести с нею ночь колдовскую...
Дай-то Боже найти ему спутницу жизни такую!

1936

ПОДМАСТЕРЬЯ

Конечно, я стал староват,
но путь обучения долог:
беда, коль орех свилеват,
беда, если в вишне засмолок.
Пусть трудятся три крепьша,
а я, древесину проверив
и запахом луба дыша,
гляжу на моих подмастерьев.

Один оказался брюзгой
и смертью моей озабочен,
хотя не бездельник другой,
но тоже не та  тобы очень.
А третий – молчи  удто лещ;
хоть мне и претит его норов,
возьметса – так сделает вещь;
но с ним не веду разговоров.

Я часто стою в забытьи,
великим спокойствием залит,
и слушаю, как воробьи
дерутса, щебечут, скандалят.
Рубанок скользит все быстрее,
но кто этот старец неловкий,
что робко застыл у дверей
в моих сапогах и спецовке?

1936

ЛАВОЧНИК БЕДНЯКОВ

Где кончается город рядами фабричных оград,
где навалены бревна, где всюду разор и разлад,
где цистерне пивной меж бараков не встать поперек,
бакалейным товаром торгует убогий ларек.

Вентилятор гудит, и прилавок манит бедняков:
здесь буханки лежат и колбасы свисают с крюков;
бьются мухи в стекло, потому как на раме засов,
и воняют сыры, и качаются чашки весов.


Пустовато на полках, однако заходят сюда
маргарина купить и фасоли, а чем не еда?
На клиентов хозяин вполне объективно глядит,
деньги будут с полочки, а нынче отпустит в кредит.

Тяжко вечер подходит, в ушах неприятный шумок,
он щеколды задвинет, навесит амбарный замок,
он табак разжует, утомленный дневной чехардой,
и о ноги его будет сеттер тереться седой.

Соль с лопатки стряхнет, постоит у мучного ларя,
поскрипит каблуками, на жалкую лавку смотря,
для торговли назавтра разложит товар в кладовой
и цветной карандаш уберет, и grosсбух долговой.

В цифры, в знаки и в точки, в любую графу и статью
он давно поименно вписал клиентуру свою.
Тяжко сердце стучит, изгибаются губы дугой;
он сжимает кулак и вселенной грозит кочергой.

СТАРЫЙ МЯСНИК ИЗ ПРИГОРОДА

Еще тесак при нем всегда в заводе,
еще висит по рюшки на крюке,
и костный мозг разбрызган по колоде,
и молоток подогнан по руке.
Он не богат, но не уронит марки,
не очень-то проймешь его жарой.
он топит сало, отжимает шкварки,
и бесится над ним мушиный рой.


Однако он не выйдет за воротца
и на убой не купит ни телка,
и потому возиться не придется
всю пятницу ему наверняка.
Но что ж не потрудиться напоследки?
Немного врут пружинные весы,
он рубит антрекоты и котлетки,
хотя и не мастырит колбасы.

С трудом под вечер лавку закрывая,
он фартук убирает в уголок.
Прилавок сух. Закрыта кладовая.
Надвинут на затылок котелок.
Он видит: над колодой вьются мухи,
вокруг крюков, кувалды и ножа, –
и в золотую цепь на толстом брюхе
вцепляется, от ужаса дрожа.


КЛАДБИЩЕ БЕЗЫМЯННЫХ

Где на равнину свернула речная струя,
где обросли тополями дороги края,
бедное кладбище путник в лощине найдет:
низкий забор, проржавелые створки ворот.

Только кресты украшают могил бугорки,
на перекладинах нет ни единой строки.
Будто, нахлынув, все надписи смыла вода.
Имя утратив, заснули они навсегда.

Здесь и тщедушный, и сильный навеки затих.
Бабы брюхатые, дети во чреве у них.
Все, что тревожило, мучило или влек 
было что было, – на свете пришлось тяжело.

В гальке у берега много косматой травы,
доброй к живущим и ласковой к тем, кто мертвы;
кладбище в зелень настойчиво прячет бурьян.
Хрипло кричит на болотистой пойме баклан.

Только крестьянин молитву порою прочтет,
выждет минуту и снова свой плуг поведет.
Места довольно для каждого, и в тишине
светятся вод  город на той стороне.

1936

ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА

Ровно час до того, как закончится ночь,
время темени, время тоски;
в старом парке деревья как метлы точь-в-точь,
меж ветвей шелестят сквозняки.
Потускневшие стекла блестят из-за штор,
не открыт ни единый лабаз,
дремлют будки, и заперты двери контор,
и шипит осветительный газ.

Ровно час до того, как закончится ночь,
просыпаться еще не пора,
но любимая рядом продолжить не прочь,
и ладони скользят вдоль бедра.
И все так же блестит в темноте нагота,
и все та же немая игра,
и открытые шепотом тихим уста
не такие, как были вчера

Ровно час до того, как закончится ночь,
и девица, поняв в полусне,
что клиент до любви не особо охоч,
залезает к нему в портмоне.
Забирает все то, что найдется при нем;
подступает волной забытьё,
и во тьме загорается влажным огнем
ненасытное лоно её.

Ровно час до того, как закончится ночь,
пробудился в больнице больной
и пытается пальцы с трудом доволочь
до стакана с водой ледяной.

Он считает, что он рассечен пополам,
и отчетливо видит в бреду:
половина куда-то ушла по делам,
половина пылает в аду.

Ровно час до того, как закончится ночь,
пробудился бедняк в катухе;
он разбит, и ему даже думать невмочь
о проклятой дневной чепухе.
И, впотьмах обожженной рукой шевеля,
ищет мокрую тряпку для глаз,
и всего привлекательней в мире петля
до рассвета всего-то за час.

1936

ТРАКТИР У РЕКИ

Над недвижным руслом старицы, куда
затекла весною и цветет вода,
у начала тракта, к насыпи впритир –
деревянный, ветхий уцелел трактир.

Выкрашена в зелень каждая доска,
прямо под террасой – топкая река,
к обомшелым сваям вот уж сколько лет
тянется последним стеблем очерет.

Здесь уху в охотку ест рыбачий люд,
городские тоже ужинать идут,
отдыхают, глядя на нехитрый скарб:
не в урон карману запеченный карп.

Задевая гравий, прочь ползет баржа,
наплывает вечер, тишина свежа,
и река струится между берегов,
отделив собою город от лугов.

О вине, быть может, белом и сухом
кто-нибудь и скажет – мол, шибает мхом, –
этот: непривычки: не сгубить вина
зеленью и сладкой плотью сазана.

Ты с рыбачьим краем слит сейчас в одно:
старица, трактирщик, местное вино,
женщина напротив, – только в белей
полоса тумана от глухих полей.

1937

ЖИВОДЕРНЯ

Там, где груши посохли, у крайнего ряда дворов,
где омела на сучьях развесила пыльный шатер,
есть паршивая плешь, на которой среди клеверов
то дворняг, то котов отправляет в расход живодер.

Ни единой халупы никто не поставит вблизи,
мертвечиной дышать не рискнет ни один психопат;
только стелется лютик ползучий в пыли и в грязи,
да на дерне пожухлом – сплошные рубцы от лопат.

Урождается здесь разве только чумная трава,
да топорчатся кое-какие бугры беленой,
и, довольные тем, что личинкам готова жратва,
приползают жуки, чтобы яйца вложить в перегной.

Кто заразы боится, становится вдвое труслив,
и не может вздохнуть, мимо голых костей проходя;
медяницы скользят, меж дурманных кустов проюлив,
и сгущается воздух, дрожа лишь во время дождя.


Здесь в траве лишь окружность, где трупы сжигают, видна,
и уж если бродяга сюда на ночевку пролез,
пусть его утешает, что здесь шелестит тишина
и усыпана звездами черная чаша небес.

1937

ЧУЖАК В ЛОНДОНЕ

В столовке воняет, язык пересох,
бардак, суета, кутерьма,
и кофе, конечно, отчаянно плох,
и всем тут хреново весьма.


Для беженцев в Лондоне плохи дела,
а я-то и вовсе чужак
и знаю, что от своего барахла
нельзя отходить ни на шаг.

Безденежье – это тяжелый недуг,
варить перестал котелок,
кругом не найти ни друзей, ни подр 
и впору писать некролог.

Все хуже известия день ото дня,
я слаб, нездоров и несыт,
но тем утешаюсь, что здесь на меня
кобель ни единый не ссыт.

1939

ИНТЕРНИРОВАННЫЕ ХАЙТОНА*

По-тихому, на всякий случай,
впотьмах умело взяли нас;
за проволокою колючей
мы оказались в тот же час;
ползла череда часов туманных,
нам долго было сужден 
при жалких наших чемоданах
стоять, не чуя ног давно.

Мы – хайтонские бедолаги,
от всех, кто дорог нам, вдали:
трофей союзничьей отваги,
соль – извините! – пыль земли.

Черпак баланды, самый первый,
испробованный на веку;
болит спина, ни к черту нервы,
и тело радо тюфяку.
И мы легли, шурша соломой,
в казарме на невытый пол,
мы обволакивались дрёмой,
но сон спасительный не шел.

Шаг часового, шаг жестокий
доносится издалека;
на западе и на востоке
нас гордо стерегут войска.

Но страх все гуще, все приметней,
знакомым больше веры нет,
неумолкающие сплетни,
плодят в потемках полный бред;

.....
* С 23 мая по 23 августа 1940 года Крамер как всё еще не получивший британского подданства был интернирован в лагере Хайтон под Ливерпулем, откуда был переведен в лагерь на острове Мэн.

все громче пульс и все короче,
в душе – опять же пустота:
глядишь, эсэсовцы среди ночи
тараном выбьют ворота.

Нас выведут, рядком построив,
винтовки тявкнут в тиши
и мигом кровь и мозг изгоев
разбрызгаются по стене.

Но может статья, что во мраке
грядет спасенье от оков,
поверх костей возрастая, маки
заблещут шелком лепестков.
И мы узнаем, что невзгоды
нам в жизни выпали не зря,
что ради торжества свободы
мы попадали в лагеря.

Ну что ж, покуд есть по чести
достойно посидим в плену:
авось с союзниками вместе
сумеем выиграть войну.

23.5.–23.6.1940

* * *

С утра до ночи я в поту
времени забыл почти,
мне нелегко разжечь плитку,
мне трудно до ворот дойти.
С утра до ночи я в поту.

Пороги и полы скребу,
кастрюли чищу и котлы;
я рад бы изменить судьбу,
да перспективы тяжелы.
Пороги и полы скребу.

К поверке как штываю,
каких-нибудь известий жду,
тетрадку берегу свою
и бережно солю еду.
К поверке как штываю.

Во мне – панический испуг,
перебороть его невмочь;
хватая в руки пингвин-бук,
чтоб сразу же отбросить прочь.
Во мне – панический испуг.

Мне спать ночами не дано,
то женщин вижу, то цветы,
то сидр, то пиво, то вино,
но есть лишь море темноты.
Мне спать ночами не дано.

1940

ВЕЧЕР В ПАЛАТКАХ

Сирена молкнет; темнота лавиной
на город опускается немой;
дневная пыль висит над дерновиной;
рабочие торопятся домой.
Мы замкнуты периметром колючим,
палатки разбиваем на песке,
всерьез науку лагерную учим,
устроившись на узком тюфяке.

На колышки натянуты палатки:
жилые и пансион нашармака;
лежим без сна, и жалкие манатки
ощупывает каждая рука.
Повсюду тишь, и только временами
свистит во тьме снарядец небольшой,
и ледяной простор горит над нами
Медведицами – Малой и Большой.

Душой мы на свободе постоянно,
мы все-таки участники войны;
на пальцах сок зеленого бурьяна,
мы бунтовать как будто не должны.
Друг с другом спорим, больше для порядка,
то строим планы, то блюдем устав;
безбрежна ночь, и каждая палатка
торчит, как бесполезный кенотаф.

Все, что смогла, судьба у нас отъяла,
одной лишь плоти зов неистребим,
но разве что шерстинки одеяла
бесцельно мы во мраке бережим.
Прожектор целит луч во тьму ночную,
над полем повилики и хвоща;
мы вместе с миром в бездну ледяную
летим и замерзаем, трепеща.

1940

Остров Мэн

* * *

И сгущается ночь
и слетает листва
и ничем не помочь
и надежда жива
и торчит часовой
и никто никуда
и хлебнули с лихвой
и гудят провода.

И могли бы добром
и уж прямо враги
и не действует бром
и тупеют мозги
и баланда жидка
и бессмыслен скулеж
и шептаться тоска
и молчать невтерпеж.

И над родиной тьма
и не жизнь а дерьмо
и сойти бы с ума
и на каждом клеймо
и не верим вестям
и сжимает сердца
и полгода к чертям
и не видно конца.


1940


Остров Мэн

ХВАЛА КОРЧМЕ

Чем показалась бы планета,
когда б исчезли корчмари?
Про дело страшное про это
уж лучше и не говори.
Кому родня осточертела,
тот может завалиться смело
в корчму часа на два, на три.


Так славно, распустивши пояс,
здесь время проводить своё
и пить, ничуть не беспокоясь
о том, что кончится питьё.
Здесь нет ни ворчунов, ни скаред:
пусть тост очередной подарит
тебе покой и забытьё.


Пить никому мы не предложим
с самим собой наедине;
поговорим, покуда можем,
о сладком и сухом вине,
о прочем выпивоне славном,
о стуке сердца  о главном:
о недопитом кувшине.

Лишь здесь поймешь, насколько мелки
злость, и обида, и вражда;
прославим наши посиделки 
за стопкой, дымной, как слюда;
то краткое отдохновенье
и то счастливое мгновенье,
что не вернуться никогда.

1942

БЕЗОБРАЗНЫЙ ПЛОД

Я вижу сливу из окна:
ствол дерева коряв и сух,
листва от копоти черна,
налип на сучья грязный пух.
Нечасто солнце смотрит вни 
в пути ему не до сирот;
на верхней веточке повис
зеленый безобразный плод.

Кривишься, бедный инвалид;
я – дома, я на дно залёг,
мне жизнь удачи не сулит,
пусты душа и кошелек.
Коричневато-голубо 
калека-плод, мой бедный брат;
из Камдена на нас с тобой
тяжелый наползает смрад.

Ликует ветер ледяной;
и я отцвел, и ты отцвел:
я, безработный и больной,
и ты, сухой скрививший ствол.
Судьба взяла нас в оборот,
но с облегченьем узнаю,
что все еще корявый плод
отягощает ветвь твою.


1942


ТУМАН НА БРОНДСБЕРИ РОД

Вскипает вода, накрывается стол,
пылает рожок, потому
что ночью сырой я на ключ заперся,
что нынче блэкаут, и комната вся
в тумане, в молочном дыму.

Туман увлажняет подушку мою,
туман облипает стекло;
на вкус отдает он то свежей корой,
то грецким орехом, то прелью сырой
и в щели ползет тяжело.



Туман, ты к себе меня властно зовешь,
я нынче бы тоже не прочь
паек отложить, что доеден почти,
довериться Лондону, да и уйти
в твою непроглядную ночь.

Меня ты на улицу снова зовешь 
но лучше сыграем вничью,
ты планов сегодня моих не нарушь:
я нынче купил и печенья, и груш,
жду в гости подружку мою.

Ты сердце мне жмешь ледяною рукою 
ты хочешь остаться внутри;
тебя умоляю, побудь за дверьми,
возьми меня завтра, навеки возьми,
а нынешний день подари!

1942

КИПАРИСУ В ГИЛДФОРДЕ

Ты, кипарис расщепленный,
рядом с кирпичной стеной,
тяжко нам с этой хваленой,
 этой туманной страной.
 ли и копоты пятна,
говор, что лаю сродни;
знаю, для нас безвозвратно
минули светлые дни.

Тут ничего не попишешь:
мне наблюдать не впервой,
как ты печально кольшешь
вечнозеленой листвою;
только и сетую, мучась:
губит меня, чужака,
беженства жалкая участь,
скорбь моего языка.

Символ могильного мрака,
но в феврале ледяном
как же ты сильно, однако,
пахнешь смолистым вином!
Нашу взаимную тягу
сколько возможно, храни,
ибо я вскорости лягу
рядом с тобою, в тени.

1943

* * *

Был бы я на двадцать лет моложе,
вспомнил бы упущенное мной;
я бы взял котомку в день погожий
и пошел взглянуть на дом родной.
Он стоит, как будто отдыхая,
арку над воротами скругля,
где крапива шелестит глухая
и цикорий вызвездил поля.

Мы с тобой прошли бы там пешочком,
погуляли б между груш и слив,
где стучало сердце молоточком
откликаясь на любой призыв.
Там для нас с тобой, моя подруга,
вновь бы шелестела бузина,
там, в траве нескошенного луга,
мы б с тобой любились дотемна.

Но ломота в истомленном теле,
жажда странствий сердца не сожмет,
страсти отцвели и отгорели,
соты опустели, вытек мед.
Нет пути домой для инородца,
разум пусть и прошлое мертво;
нам с тобою быть не доведется
возле дома детства моего.

1943

ДЕРЕВЕНСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

За деревней, где тропка петляет, с трудом
продираясь сквозь заросли сохлой лещины,
кое-как существует ветшающий дом,
где живут старики на подачки общины.
Опаленный пожаром, открытый ветрам,
он стоит в сорняках тяжело и уныло,
он зияет провалами треснувших ра
и фундамент просел, и подгнили стропила.

На дворе в простынях шелестит ветерок,
сушит тряпки, повязки, бельишко сырое,
а на кухне идет бесконечный тарок,
за которым сидят неизменные трое.
Чуть не круглые сутки пылает плита,
не спешат успевают обед или ужин,
и кипят в котелке в день убоя скота
селезенки, трахеи, обрезки сычужин.

Кто-то вовсе не хочет вставать со скамьи,
а другой втихаря у печи сквернословит,
третий кости на солнышке греет свои,
а четвертый клопов с увлечением ловит.
То точило поет вдалеке, то коса,
и жара, и затишье царят в околотке,
лишь под вечер прохладно ложится роса
на окрестные заросли пыльной яснотки.

1943

УЖИН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Сглотнуть от зноя не могу
застрявший в горле ком;
пойдем в кафе на берегу
подышим ветерком.
Столы и стулья в два ряда,
здесь славно дотемна
сидеть, как в прежние го,
над рюмкою вина.

Я понимаю, туфли жм
ты их тихонько сорось,
цыпленок вряд ли дорог тут –
не прогорим авось.
Здесь не спешим мы никогда,
приятно вполъяна
сидеть, как в прежние го,
над рюмкою вина.

Здесь влажный ветер гладил нас,
тревожил птичий крик,
здесь был нам сладок каждый час
и сладок каждый миг.
Ну что, давай теперь допьем
до самого до дна;
здесь умереть бы нам вдвоём.
над рюмкою вина.

1944

* * *

Холодный ливень хлещет,
простор от влаги пьян,
промокший хвощ трепещет,
оцепенел бурьян.
Тропа все неопрятней,
все глуше лебеда,
утопшей паучатней
топорщится вода.

Холодный ливень хлещет
с утра и до утра;
на листьях влага блещет,
рубаша вся мокра.
Задымлена лощина,
затоплены поля,
в лесу гниет лещина,
обвисли тополя.




Холодный ливень хлещет,
пора бы отдохнуть;
но в сердце страх скрежещет,
опасен долгий путь.
Пусть силы на пределе,
но видим под дождем:
мы вовсе не у цели,
и дальше мы пойдём.

1944

ПАРАЛИЗОВАННЫЙ КРЕСТЬЯНИН

Взошла трава в лесу и на лугу,
но я из дома выйти не могу,
я чуть хожу с того худого дня,
в который паралич разбил меня.

Стараюсь я родным не докучать,
могу ребенка в зыбке покачать,
мух отогнать, осу или слепня,
могу насыпать курам ячменя.

На многое смотрю я, как впервой,
и вижу двор, заросший сон-травой 
колодец вижу старый  ведро, 
поленницу и прочее добро.

Зацвел иссохший персик по весне.
Как некогда, запрячь бы лошадь мне,
на пашню выйти, чтобы день-деньской
пронзать ее всей силою мужской.

Куда смотрел я в прежние года?
Сияет солнце, плещется вода,
цветут цветы, густеют зелена...
Все это слишком поздно для меня.

1944

* * *

Это будет так: в конце недели
я пойду на рынок вечерком,
да и за закуплюсь без канители,
предположим, свежим судаком.
И торговка в первой же палатке
скажет: будем, милочка, честны,
вот тебе кочан капусты сладкой,
отдаю его за полцены!

Накупив еды с большим излишком,
я домой немедля поспешу,
по рубашке свежей дам детишкам,
да и головенки расчешу.
Я надену праздничную юбку,
потемнеют в небе облака,
и курить с приятелями трубку
будет муж за кружкой пивка.

Вечера подобные, сестрица,
заслужили точно я и ты,
но из мебелирашек ухитриться
надо срочно сделать лататы.
Корки сыра в радость мелким мышкам,
только драп из здешнего мирка
надо бы откладывать не слишком:
больно песня наша коротка.

1944

РЫБА С КАРТОШКОЙ

Горстка рыбы с картошкой, полный кулек
на три пенса, – а чем не обед?
Больше тратить никак на еду я не мог,
уж таков был семейный бюджет.
Я хрумкал со вкусом, с охоткой,
и крошки старался поймать,
покуда за перегородкой
так тягостно кашляла мать.

Горстку рыбы с картошкой, полный кулек,
принесла ты в кармане своем,
помню, тяжкий туман в переулках пролег,
было некуда деться вдвоем.
И, помню, в каком-то подъезде
мы были с тобою в тот раз –
дрожали рисунки созвездий
и слезы катились из глаз.

Горстка рыбы с картошкой в родимом краю –
все, кто дорог мне, кто незнаком,
съешьте рыбы с картошкой в память мою
и, пожалуй, покрасьте пивком.
Мне, жившему той же кормежкой,
бояться ли судного дня?
У Господа рыбы с картошкой
найдется кулек для меня.

1944

* * *

Из доходного дома – прямая тропа
на окраину: там не видать ни клопа,
потолки не затянуты плесенью сплошь,
но в квартирках при этом уюта на грош,
и никак не согреться под вечер.

И на службу из дома – к чертям на рога,
так что тратится время, а с ним и деньга,
и за день до получки твоей ни один
из соседей не станет ссужать маргарин,
и никак не согреться под вечер.

И поблизости нет уж совсем ни одной
задушевной, торгующей джином пивной;
всех счастливей же – те, кто всегда во хмелю,
те, кто вовсе бездомен, и – кум королю!
И никак не согреться под вечер.

1944

НОЧЛЕЖКА

С вечера душно в ночлежке, хоть вешай топор,
но постояльцев таким не возьмешь на измор,
всем, чем найдут, утепляют постели свои,
режут копченую рыбу, гоняют чай.

Борются с холодом, груды тряпья затолкав
на ночь за пояс, за пазуху, в каждый рукав,
хочешь – кури, но закон тут достаточно крут,
харкай, но только в пакет, а иначе попр

Есть здесь бродяги, сумевшие мир посмотреть,
есть и такие, что здесь и хотят помереть;
в щель проскользнув, разложением дышат ветр
и напевают чуть слышно с утра до утра.

Все серебро, что сегодня рукою скупой
им набросают, немедля пойдет на пропой,
и через кухню вползает густеющий чад,
и в коридоре воняет загон для зайчат.

В зале становится тесно: пришли холода,
кашлем заходится кто-то, забредший сюда,
он подбородок почешет, судьбу костеря,
фляжку достанет и джина глотнет втихаря.

УТРО В НОЧЛЕЖКЕ

Чуть заполнятся окна звенящей предутренней тьмой,
в коридор вылезает, ругаясь, хозяин хромой:
застарелой блевотиной пахнет поток сквозняка,
просыпайтесь, поганцы, и хватит давать храпака,

Два-три пенни на бочку – едва ли цена велика:
для ночлежников чай предусмотрен за счет общака,
словно женщина, греет глоток этой теплой бурды,
и на миг отвлекает от холода и от нужды.

Нищebroды – элита среди населяющих дом,
ибо все еще могут заняться каким-то трудом;
эти рано уходят, на угол заветный спеша,
опоздаешь – и в кружке потом не найдешь ни гроша.

Только даже на это у многих не сыщется сил,
вечно дремлют они, их ленивый недуг подкосил,
им ночлежка до вечера – то же, что курам насест,
ближе к ночи, однако, их гонят с налеганных мест.

Но и тот, кто лежит, не останется с миской пустой,
каждый помнит, как просто сломаться в борьбе с нищетой;
и начнется картеж, стоит мискам пропасть со стола,
и они просидят за игрою всю ночь досветла.


1944

ДЕШЕВАЯ ХАРЧЕВНЯ

Есть за вокзалом заезжий особенный двор,
где пообедать – себе подписать приговор;
то, чем накормят, любого проймет храбреца:
в мире не сыщешь таких требухи и рубца!

Перец в рагу из обрезков острей, чем кинжал,
ливерный фарш отмяукал, отвыл, оторжал;
краденым мясом из супа рука едока
с полной гарантией не обжигалась пока.

Но привередливых здесь не бывает гостей:
тем, кто приходят, достаточно сбоя с костей,
голод не тетка, и он рассуждать не велит,
в их конурах не имеется газовых плит.

То, что в кувшине, вином обозвать тяжел 
уксус кислей кислоты, здесь ничто не мало:
вилка-мешалка огромна, огромен горшок,
и надо всем – исполинская вонь от кишок.



Тянет с помойки и с кухни единым амбре,
жуткая жральня закрыта, темно на дворе;
конченый день, шебурша в наступившей ночи,
рыжий хорек провожает струею мочи.

1944

ЧЕРНЫЕ АЛЛЕИ

Фабричная смолкла сирена,
простор покрывается тьмой;
рабочая кончена смена,
теперь поскорее домой.
Чай выпит, жилище убого,
и что человеку милей,
чем взять да пройтись хоть немного
по сумраку черных аллей.

Не помнят о предках потомки –
назначено так испокон;
любому дорога в потемки,
но это всеобщий закон.
Простясь со своею лачугой,
хоть капельку, да веселей
бродить со случайной подругой
по сумраку черных аллей.

Нас звезды ведут путевые,
сверкая в пучине ночной:
лишь кольца растут годовы 
и нет перемен под луной.
Вот только не боль бы тупая,
вот только бы чай потеплей,
и можно б уйти, засыпая 
по сумраку черных аллей.

1944

О ХВОРАНИИ В МЕБЛИРАШКАХ

Хворать в мебелирашках – неважная роль:
соседские новости слушать изволь,
детишки вопят и хрипят старики,
когда – духота, а когда – сквозняки.

Под вечер придет сострадающий люд,
таблеток, микстур, порошков нанесут,
и каждый подаст драгоценный совет
о том, как лечился двоюродный дед.

Но есть неприятностям противовес:
и чай приготовят, и сменят компресс,
забота, участие с разных сторон
и полный порядок насчет похорон.

1945

* * *

Мы, разделившие с пылью летящей судьбу,
мы у которых начертана гибель на лбу,
мы у которых и общего – разве что цель,
все-таки много алчем и жаждем досель:

хлеба от хлеба, который без нас испекли,
плоти от плоти (как мы стосковались вдали!),
силы от силы, что стала добычей тьмы,
места от места, с которого изгнаны мы.

Мы, что все время сбивались с прямого пути,
свято желая хоть что-то святое найти
окаменели сердцами, никто не припас
времени на доброту и на мудрость для нас.

Сделай же так, чтобы сгинула наша беда,
минула горечь... Мы скоро уйдем в никуда:
хлеба нам дай и вина, на тропу отведи,
и, наконец, беспощадным судом не суди.

1945

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Долины землистого цвета,
гнилые стога на лугу,
я рад бы увидеть все это,
однако едва ли смогу;
еврей из скорняцкого ряда,
барышник, забавный до слёз,
ушли из страны винограда,
над ними развеялся лёсс.

Не выйдет из хижины нищий,
не двинется в марте домой,
плестись на свое пепелище
не станет походкой хромой.
Он в жребии твердо уверен,
утратил надежду и страх,
он просто для мира потерян,
над нищим развеялся прах.

Алкаш, налакавшись хмельного,
считай, что свое отшумел,
остатками сула пивного
нельзя заменять опохмел.
Я вас не молю о защите,
я в дом возвратился родной:
пою, но меня не ищите,
развеялась пыль надо мной.

1946

О ПРЕБЫВАНИИ В БЕДНОСТИ

Живешь, о разносолах не жал^{☐☐☐}
но счет пришлют мясная, бакалея,
и отлетит подошва башмака:
как не проклясть судьбину бедняка.

Когда заглянет в гости тот, кто дорог,
а в доме – только горсть вчерашних корок,
и нет ни колбасы, ни коньяка –
как не проклясть судьбину бедняка!


Когда хворает друг, и нет, пожалуй,
надежды на здоровье самой малой,
а на гостинец – нет ни меда^{☐☐☐}
как не проклясть судьбину бедняка.

Лежать в гриппу – куда уж неприятней,
к тому же нечем заплатить печатне,
и все же пинешь, за строкой строка:
как не проклясть судьбину бедняка!

1946

БЛАГОТВОРНЫЙ ТУМАН

Повисла осенняя мгла над шинком,
шуршит по шпалере сухим стебельком,
в лозу нагнетает густое вино,
а ветер шумит, и во мраке темно,
и падают листья в тумане.

Где сыщется рислинга добрый глоток –
сойдет за обед даже хлеба кусок;
в долине, как солнце далеких миров,
колышутся дымные пятна костр 
и шелкают сучья в тумане.



Такая нежданно богатая тишь,
что зреет, что падает – не уследишь;
и только бы знать, что утихли ветра,
и чуешь – все ближе и ближе пора
попоек и песен в тумане.

1946

ДОМ БРОДЯГИ

Я на пустой крестьянский двор
забрел под сенокос, –
светился дырами забор,
благоухал навоз,
еще – сарай темнел в углу
открытый, и текла
у абрикоса по стволу
прозрачная смола.


Лениво отгоняя мух,
меня облаял пес,
и жимолости сладкий дух
мог довести до слез, –
и я, собрав остатки сил,
как бы платя за кров,
к колодцу за водой сходил
и напоил коров.

Из крынки сделал я глоток,
прилег в тени потом,
и пес дворовый тоже лег
и завиял хвостом, –
так охраняли мы вдвоем 
тот мир, что был в до 
и до сих пор в пути моем
я вновь иду к нему.

1947

КАНОН

Бледнеют созвездья  тонут в былом 
о чем бы достойном нам спеть за столом?

Мы все еще молоды, в мире для нас
меняется все каждый день, каждый час.
Бывает, что нужно идти по приметам,
бывает, что нужно обжечься при этом,
бывает, что нужно сложиться в гармошку,
бывает, что нужно вступить за кошку.
Меняется все каждый день, каждый час 
и медленно тянется время для нас.


Бледнеют созвездья и тонут в былом;
о чем бы прекрасном нам спеть за столом?

Прошло наше время, и мы – старики,
непросто нам жить, наши годы горьки.
Бывает, что нужно замедлить мгновенья,
бывает, что нужно спастись от забвенья,
бывает, что нужно бежать от былого,
бывает, что нужно фиксировать слово.
Непросто нам жить, наши годы горьки,
прошло наше время, ведь мы – старики.

Бледнеют созвездья и тонут в былом;
о чем еще стоит нам спеть за столом?

И мир неустойчив, и в чувствах раздор,
и путь ограничен, и замкнут простор.
Бывает, что нужно шептать заклинанье,
бывает, что нужно пуститься в изгнанье,

бывает, что нужно объять мирозданье,
бывают нужны и любовь и страданье.
Но путь ограничен, и замкнут простор,
и мир неустойчив, и в чувствах раздор.

Бледнеют созвездья и тонут в былом;
другие придут  споют за столом.

1947

ПРИЗНАНИЕ

В комнате – ночь, и еще далеко до зари,
руку на лоб положи мне и слух наостри;
ты ведь не спросишь, но выслушай тайну мою:
только и делаю в жизни, что ужас таю.

Ужас беззвучной воды и немого огня,
ужас ночной тишины и гремящего дня,
ужас прогневать начальство, накликать беду,
ужас, что я осрамлюсь и тебя подведу.

Вдруг да и правда, что мне не сносить головы?..
Я ли один вот такой или все таковы?
Только с тобою могу отдохнуть в тишине;
но расставаться пора – вот и ужас при мне.

1949

АННЕМАРИ

Грохочущий город – кирпичный прибой;
ты едешь в трамвае шестом,
письмо мое держишь ты перед собой,
а я – далеко за мостом.
Судьба тебе горькую долю дала,
но ты мне в глаза посмотри;
прекрасен твой взор и улыбка тепла,
поблекшая Аннемари.


Горчат у меня и еда и питье,
по жизни бреду наугад;
меня утешает дыханье твое,
но это и все, чем богат.
А, впрочем, забудь мой печальный удел,
в расчет мою боль не бери;
я все потерял, чем когда-то владел,
поблекшая Аннемари.

Дарил бы тебе я духи и цветы
и завтрак в постель приносил,
да только я даже беднее, чем ты,
и нет ни здоровья, ни сил.
Я знаю, что жизнь скоротать бы не смог
с тобою вдвоем, хоть умри;
да будет твой жребий не слишком жесток,
поблекшая Аннемари.

1950

* * *

Ну, так за что мой первый тост?
Ответ элементарно прост:
что дать земле, что небесам –
пусть человек решает сам.

Произнесу второй мой тост 
мы не дождемся с неба звезд,
зато уместно за столом
посокрушаться о былом.

Мы молча выпьем третий тост,
судьба наступит нам на хвост;
но будет пусть пряма стезя:
берите все, что брать нельзя!

Я придержу последний тост:
конечно, всех нас ждет погост,
но пусть в благие времена
прозябнут наши семена!

1950

ШОРОХ

В ночи, задолго до прихода дня,
какой-то шорох испугал меня.
Ложись, укройся: это все не в счет,
роняет сажу старый дымоход.

Не может быть, чтоб только сажа, нет!
Я слышу этот шорох много лет.
Ложись, поспи, пока придет восход,
а шорох... Древоочец ест комод.

Нет, он бы так не запугал меня!
Смелеет шорох, душу леденя.
Ну что ж, лежи и слушай, как шуршит
твой вечный страх: он спать не разрешит.

1951

* * *

Только горечь вижу в мире,
только сирых – меж людьми.
Не брядай, поэт, на лире,
но гармонику возьми.

Пуст карман, осипла глотка,
мысли сумрачны и злы.
Вместо крови в жилах водка,
а душа полна золы.

Не здоровье, а разруха,
плохо с сердцем, с головой.
Мне подругой нынче – шлюха,
другом – ветер пылевой.

Мне из дел одно осталось –
в строчки складывать слова.
Мною, жалким, движет жалость,
но и ненависть жива.


На юру, меж трав зеленых,
словно ящерка, вздремну:
коль стихает ветер в кронах,
клонит и меня ко сну.

Состраданье душу гложет –
все шагаю да пою.
Жаль, никто потом не сможет
взять гармонику мою.


1952

НА ЖНИВЬЕ

Повороти лицо свое,
застынь, и на меня взгляни;
немного колетса жнивье:
чего и ждать бы от стерни.

Из почвы с позднею травой
зеленый проступает свет;
улитка тащит домик свой 
и оставляет сизый след.

Твое дыханье над жнивьем
всплывает, сладостью томя;
здесь мы с тобой лежим вдвоем
между мгновеньями двумя.

Жизнь комарья – недолгий срок,
печален танец на ветру,
и самый слабый ветерок
легко уносит мошка 

Стручки роняют семена,
вступил в права осенний час,
и поднимается со дна
все то, что созревает в нас.

Тебя за плечи обниму,
впотьмах молчание храня;
здесь даже думать ни к чему
о том, что колетса стерня.

ВЕЧЕР НА БЕРЕГУ

Тучи комарья из черной поймы
отлетят от нашего костра;
здесь, на берегу, вдвоем с тобой мы
досидеть могли бы до утра.

С теплого песка
сдвинулась рука
на траву, и сделалась мокра.

Запахи черемуховой дали
болью отзываются тупой,
мы с тобой на поезд опоздали,
ну и пусть... давай-ка, песню спой:
выпал нам часок,
отсырел песок,
блещет небо млечной скорлупой.

Нас не ищут – истина простая,
ветер смыл с природы пыльный грим;
здесь купальня есть одна пустая,
так пойдем, судьбу перехитрим,
не стыдясь ничуть,
только не забудь
то, что этот миг неповторим.

1952

* * *

Светлеет небо вдалеке.
Рука скользит к другой руке
к чужой – однако пуст матрац
и слезы катятся из глаз.

Ушли, погасли в тишине
слова, звучавшие во сне.
От них бы светлой стала ночь,
они могли б спасти, помочь.

Но все исчезло налету –
и человек лежит в поту,
пытаясь тщетно сохранить
в потемках рвущуюся нить, –

соединить ее, вернуть!
Но эту нить, но этот путь
найти неспящим не дано.
Озноб. Рассвет глядит в окно.

1952

ВТОРАЯ РОДИНА

Мой Лондон, город городов,
держава парков и мостов,
в тебе сегодня признаю
вторую родину мою.

Подземка – лучший транспорт мой,
маршрут из дома и домой,
как все, не торопясь еду,
готовлю на плите еду?

Лишь иногда, под выходной,
когда отступит летний зной,
и чаепитье вперед
рванется сердце из груди.

Но здесь традиция важна:
вот – пончик, вот – стакан вина,
обычай, в сущности, таков:
не быть чужим среди чужаков.

У новичков рождает страх
с карнизов сыплющийся прах,
но ты мне воздух и семья,
вторая родина моя.

1952

ЗАБРОШЕННАЯ КАМЕНОЛОМНЯ

Сосны громоздятся в чаще темной
над заброшенной каменоломней.
Выемки и трещины видны
у подножья каменной стены.

Там, на дне карьера, и снаружи –
запустенье и гнилые лужи.
Буйные хвощи растут вокруг.
Зеленью ощерился латук.

Да еще – на склон карьера дикий
протянулись плети ежевики.
Каменную рану до сих пор
медленно залечивает бор.

1952

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

Мои подмастерья – ленивый народ,
слиняли пожрать от меня.
Возьму под пивко с колбасой бутерброд,
малек отдохну среди дня.
Присяду на доски и – кум королю;
плевать, что не мыты полы.
Доем и допью и, пожалуй, посплю
под песнь циркулярной пилы.


Стоит у меня на станине она,
надежен дубовый настил.
Мне сила была от рожденья дана,
и я ее в дело пустил,
Не буду роптать на печальный удел,
на то, что труды тяжелы,
но я бы до старости слушать хотел
напев циркулярной пилы.

Мне часто твердят, что она дребезжит,
и звука не сыщешь гнусней,
но я-то уверен, что мне надлежит
судьбы дожидаться при ней.
Четыре доски – превосходный футляр,
опилки и запах смолы,
лишь пусть мне оставит Небесный Столяр
напев циркулярной пилы.

1953

* * *

Что поют пичуги –
право, не пойму.
Только свет в округе
убивает тьму.
Этот нищий, жалкий,
этот дивный дар:
скрип тяжелой балки
и над полем пар.

Все, что видел розн 
будь со мной сейчас,
ибо станет поздно,
вещи, петь про вас:
хочется смертельно
петь и петь певцу.
Песня беспредельна.
Жизнь пришла к концу.

1953

* * *

В грозе и мраке наступает март,
прет напролом, без компаса и карты
и эта буря поглотить должна
все то, в чем нет здорового зерна.

В грозе и мраке наступает март,
и остается уповать на фарт –
иначе ни к чему и доктора.
О, не тверди, что умирать пора!

Я слаб, как позабытый колосок,
не претендую ни на чей кусок,
однако перед строчками – в долгу
и до сих пор... Я просто не могу!

Я не окончил множества работ,
мне нужен срок – еще хотя бы год...
Болят виски и ноет миокард.
В грозе и мраке наступает март.

1953

В ГРИНЦИНГЕ

Под небом осенним танцуют скворцы;
сады в одеянье цветном;
приходят сюда старики и юнцы
забыться в тумане хмельном.
Я тоже прид^у устроюсь в углу,
помедлю^ю Господу Богу хвалу
воздам незрелым вином.


Под сенью ветвей молодой паренек
с подружкой сидит в тишине;
пришел завсегдатай, уселся в тенок:
он толк понимает в вине.
Дедок сожалеет, что чарка мала,
но бабушка стопку берет со стол^а
и этим довольна вполне.

Коврижка, молочный орех и вин^о
и отдых в осеннем саду,
здесь вечер легко скоротать нам дано
с собою и с миром в ладу.
Но певшему песни о Млечном пути,
гармонику бросив, придется уйти
пожалу^ю бросив^ю этом году.

1953

КОНСУЛЬСТВО

Нигде подвижки ни на пядь,
но здесь на холоду
я перед консульством опять
заветной визы жду.

Я чую, жизнь ю кляня,
болезненный укол:
для тех, кто смотрит на меня,
я абсолютно гол.

Здесь разбивается мечта,
терпение – в цене;
понюшка белая – и та
не помогает мне.

Я перед консульством стою,
барьер передо мной:
Господь, услышь мольбу мою
о визе о въездной.

1953

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

День поминовенья. Захочу –
фитилек в лампадке засвечу:
ты гори с печалью и с тоской
матери моей за упокой,

той, которой я помочь не мог,
ты гори за сына, фитилек,
ибо ставлю крест на жизнь свою,
хоть чужбины горький хлеб жую.

Ты гори, оплавав заодно
все, что было мной сочинено,
что нигде издать надежды нет –
догорай, лампадки тихий свет.

Догорай, мерцающая скорбя
(через год – зажжет ли кто тебя?),
ты свети стихам, любви, добру –
в них-то я не до конца умру.

1953

РОЖДЕСТВО В СОХО

Рождество и суматоха,
никому не до меня,
так пойду, пожалуй, в Сохо,
поброжу остаток дня.

В лавках – яблоки, печенья,
звездный час для торгаша.
У меня на развлеченья
нет при этом ни гроша.

С каждым годом жизнь все горше,
но живу же ведь пока.
Шлюха, грим обычный стерши,
покупает индюка.

По трактирам и по барам
мчит псалом вослед псалму.
Общим заражен угаром,
шляпу на ветру сниму.

Ноет хлипкая утроба,
сердце – как пустой вольер.
И еще вдобавок небо
высохло, как Лестер-сквер.

1953

НОМЕР СЕМНАДЦАТЬ

Инспектор, извольте рюмку вина?
Вишневка, поверьте, весьма недурна.
Не пьете? Ну, что ж, ни к чему канитель:
дом номер семнадцать *отнюдь* не бордель.

Девицы способны платить за жилье,
но данное дело никак не мое;
на ренту живу, вот – моя конура;
для лишних волнений я стала стара.

Здесь доктор бывает отнюдь не в кредит,
спросите его, он легко подтвердит.
А девочки что, из деревни они,
и с ними хватает грызни и возни.


Клиент, к сожаленью, порой – психопат;
поди защитись от его эскапад.
Почтенный инспектор, скажу, не хитря:
людей переделать стараетесь зря.

1954

ВМЕСТЕ С ПЫЛЬЮ

Многие покой находят в спальне,
но моя судьба куда печальней:
лишь на землю ляжет темнота –
пыль запорошит мои уста.

Многим слышен щебет на просторах –
я один внимаю тайный шорох:
вместе с пылью, спящей на ковре,
тяжко просыпаюсь на заре.

Не для флоксов и не для сиреней
через моих стихотворений;
пыль стряхну в неведомом году 
встану и шарманку заведу.

1956

СНАРУЖИ

Там, снаружи, – тьма, тревога.
Вьются тени у порога.
Сторож, глотки им заткни,
прогони их, прогони.

Там, снаружи, – тьма, тревога.
Под стеной бежит дорога.
Сторож, колотушку брось:
тени разбегутся врозь.

Там, снаружи, – серп шафранный
над дорогой, над поляной
льет лучи, как брызги льда.
Не пускай его сюда.

1956

СВИДАНИЕ С РОДИНОЙ

Я – дома, через столько долгих лет;
но прежних переулков больше нет,
на Ринге башня рвется в облака:
я дома превратился в чужака.

У памяти последний сдан редут;
меня в кофейнях более не ждут,
не нагулять мне более жирка:
я дома превратился в чужака.

Что делать – изменились времена,
от прежних дней осталась лишь луна,
что втиснула меж крышами бока:
я дома превратился в чужака.

28.11.1957

Вена

НЕЗРИМЫЕ СТИХИ

Чужою болью запасаясь впрок,
я написал излишне много строк.

Не заслужив ни славы, ни похвал,
я слишком мало строки шлифовал,

но мог легко сойти с ума, утратить
я по дороге хоть одну тетрадь.

Смертельной оказалась западня:
стихи, что уничтожили меня.


4.3.1958

Вена

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений Витковский. День поминовения Теодора Крамера 3

ИЗ СБОРНИКА «УСЛОВНЫЙ ЗНАК» (1929)

Внаймы	15
Хлеба в Мархфельде	16
Год винограда	17
В  совом краю	18
Последнее странствие	19
Последняя улица	20
Условный знак	21
«Если хочет богадельщик...»	22
Ужин	23
Кровать	24
Мотыга, заступ, долбня	25
Комнатный маляр	26
Песня по часам	27
Двое затравленных	28
Рента	30
Отчет по поводу смерти торговца-надомника Элиаса Шпатца	32

ИЗ СБОРНИКА «КАЛЕНДАРЬ» (1930)

О великом холоде накануне нового 1929 года	33
Зимняя оттепель	34
Затопленная земля	35
Майские костры	36
Светлое время	37
Летние тучи	38
Облава	39
«Вот-вот желтизной озарятся отавы...»	40
Зима зимой	41

ИЗ СБОРНИКА

«ТРЯСИНАМИ ВСТРЕЧАЛА НАС ВОЛЫНЬ» (1931)

«Когда на фронт мы ехали мы ехали впервые...»	42
«Угрюмо сорняком обсажен черным...»	43
Разоренные земли	44
«Трясинами встречала нас Волынь...»	45
«Мы улеглись на каменной брусчатке...»	46
Винтовки в дыму	47
Ночь в лагере	48
Лошади под Деллахом	49
Демобилизация	50
Художник	51
Военнопленный	52
Поселенцы	53
Контуженный	54

ИЗ СБОРНИКА «С ГАРМОНИКОЙ» (1936)

Мартовские смерти	55
Жандарм	56
В воскресенье	57
Столовка	58
Девушка с виноградника	59
Скотница и батрак	60
Наши часы	61
Шарманка из пыли	62
Щедрое лето	63
Чужак	64
«Я думаю, мне было бы по силе...»	65
Старому бродячему цирку	66
На маленькой станции	68
Трем старым картежникам	69
В поле	70
Углепогрузчики	71
Зимний садовник	72
Старик у реки	74

«Там, где копать кроет подъездные ветки...»	75
Уличные певцы	76
«Опять акация в цвету...»	77
Щетинщик	78
Десять лет аренды.....	79
Прощание с лесным складом	81
Шелушильщики орехов	82
Зимнее пальто	83
Холодный ряд фабричных труб.....	84
Сточный люк	85
Выдворение из приюта для слепых	86
Прием в дом для престарелых	87
Жители вагона	88
По поводу насильственной смерти владельца табачного киоска	89
Зимняя гавань.....	91
Шаги	93
Лайферде, Нижняя Саксония.....	95
Последнее усилие.....	96
Свидание с моим кабачком.....	97
Замерзшей пьянчужке.....	98
Снег	99
Для тех, кто не сплет о себе	100
Ромашка.....	101
Песня у костра в саду	102

ИЗ СБОРНИКА
«ИЗГНАН ИЗ АВСТРИИ» (1943)

«Писать в тоске ли, в злобе...»	103
Вена: праздник Тела Христова. 1939	105
Над кружкой барды.....	106
О дожде перед наступлением ночи	108
На станции подземки	109
О небе Лондона	110
Кающаяся девушка	111
Изгнан из Австрии.....	112
Нашим мертвым.....	113

ИЗ СБОРНИКА
«ВЕНА 1938 / ЗЕЛЕННЫЕ КАДРЫ» (1946)

«Мне ничего не сделали пока...»	114
«Кто в нашу дверь звонит чуть свет?»	115
«В бор соседний я один ушел вчера...»	116
На переломе.....	117
«Ты всё цветешь ли, деревцо...»	118
«Те, что меньше родину любили...»	119
«Я дома целый день, но я уже не здесь...»	120
«Я сидел в прокуренном шалмане...»	121
Нашему привратнику	122
Печь возле Люблина.....	123
Славянское.....	124
Визит к помещику	125
Май в Добрудже.....	126
Погибший в Зеландии.....	127
Старая пара в Венском Лесу.....	128
Реквием по одному фашисту	129
«Когда вернусь я в мой зеленый дом...»	130

ИЗ СБОРНИКА
«ПОГРЕБОК» (1946)

Возвращение бургенландца	
1. Сын бургенландца.....	131
2. Отец бургенландца	132
3. Жена бургенландца	133
4. Бургенландец идет домой	134
Погребок	135
Песня под осенним дождем.....	136
Травница	137
Пивная.....	138
Йозефа.....	139
Песня на окраине.....	140
Коль хоть один открыт трактир.....	141
Кафешка при дороге	142
Тост над вином этого года.....	143

Вечер перед операцией	144
Шлюха из предместья	145
Старые рабочие	146

ИЗ СБОРНИКА

«ХВАЛА ОТЧАЯНИЮ» (1946 / 1972)

«Там, за старым рынком, есть квартал...»	147
«Заезжий двор, клетушки...»	148
Затянувшийся развод	149
Старая вдова	150
Господская стряпуха в богадельне.....	151
Воскресный день коммивояжера	152
Привокзальное кафе	153
Молитва рыночного грузчика.....	154
В больничном саду	155
Прощальный танец	156
Ночное кафе	157
Поздняя песнь	158
«Осенние ветры уныло...»	159
Кузнечнику	160
«Сколько жить еще – бог весть...»	161
О черном вине	162
«И ржавые бороздки...»	163
«Как я счастлив, что любовь ушла...».....	164
Девяностосемилетнему.....	165
«Как мне жаль, что отцветает рапс...»	166
«Любовницы, те, что лежали со мной...»	167
О барабанах.....	168
Хвала отчаянию.....	169
Конец лета	170
«Насущное дело: хочу, не хочу...»	171
«Мои постели, вспомнить вас пора...»	172
О хвастовстве	173
О горечи	174
О пребывании один на один	175
Застольная песня перед уходом.....	176

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Чума.....	177
Три паренька	182
Леопольдштадт	183
Зимний лес.....	184
Монастырский суп.....	185
Полевой сторож	186
Пустошь	187
Марта Фербер.....	188
Трава в огне	189
Умирающие реки	190
Шабат.....	191
Гроб.....	192
Горная деревня.....	193
Уличному конюху	194
Октябрьский полдень	195
«На сучьях высохла листва...»	196
Горбун.....	197
О великой саранче близ Лихтенвёрта	198
О великой гибели сосновых лесов возле Витшау	199
Похвала картам	200
Холм.....	201
«Маленький шалманчик есть на берегу...».....	202
Насчет борделя.....	203
Через поле стерни	204
«Неподалеку от крыльца...».....	205
Скудный виноградник	206
Овощной рынок.....	207
«Вблизи от столицы не жизнь, а отстой...»	208
Старьевщик.....	209
Сухой снег	210
Сон о забытом на посту.....	211
У последнего квартала	212
Высылка.....	213
Озеро Нойзидлерзее	214
Дешевый рынок	215
В старом квартале	216
Мороз в предгорье.....	217
Свалка	218

Песнь у фонаря.....	219
Утро в комнате уличной девочки	220
Трактирщица в страду.....	221
К земле.....	222
Весенние костры.....	223
Ларек с венскими колбасками	224
Перед рябиной	225
По поводу сноса ветхого дома.....	226
«Где над каналом обрублен откос...».....	227
Вознесение Девы Марии	228
Сестра	229
Рощица у фабрики	230
О жене для коммивояжера	231
Подмастерья	232
Лавочник бедняков	233
Старый мясник из пригорода	234
Кладбище безымянных	235
За час до рассвета.....	236
Трактир у реки	238
Живодерня.....	239
Чужак в Лондоне	240
Интернированные Хайтона.....	241
«С утра до ночи я в поту...»	243
Вечер в палатках	244
«И сгущается ночь...»	245
Хвала корчме	246
Безобразный плод.....	247
Туман на Брондсбери Род.....	248
Кипарису в Гилдфорде	249
«Был бы я на двадцать лет моложе...».....	250
Деревенская богадельня	251
Ужин под открытым небом	252
«Холодный ливень хлещет...»	253
Парализованный крестьянин	254
«Это будет так: в конце недели...»	255
Рыба с картошкой	256
«Из доходного дома – прямая тропа...»	257
Ночлежка	258
Утро в ночлежке.....	259
Дешевая харчевня	260

Черные аллеи	261
О хворании в мебелирашках.....	262
«Мы, разделившие с пылью летящей судьбу...»	263
Возвращение домой.....	264
О пребывании в бедности	265
Благотворный туман	266
Дом бродяги.....	267
Канон	268
Признание	270
Аннемари	271
«Ну, так за что мой первый тост?...»	272
Шорох.....	273
«Только горечь вижу в мире...»	274
На жнивье	275
Вечер на берегу	276
«Светлеет небо вдаль...»	277
Вторая родина	278
Заброшенная каменоломня.....	279
Циркулярная пила	280
«Что поют пичуги...»	281
«В грозе и мраке наступает март...»	282
В Гринцинге.....	283
Консульство	284
День поминовения.....	285
Рождество в Сохо	286
Номер семнадцать	287
Вместе с пылью	288
Снаружи.....	289
Свидание с родиной	290
Незримые стихи.....	291

Теодор Крамер
Хвала отчаянию
Избранные стихотворения

Редактор *О. Кольцова*

Подписано в печать 25.09.19. Формат 60x90/16
Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 18,75

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>
E-mail: info@vodoleybooks.ru

Отпечатано: АО «Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 (499) 322-38-30

16+

